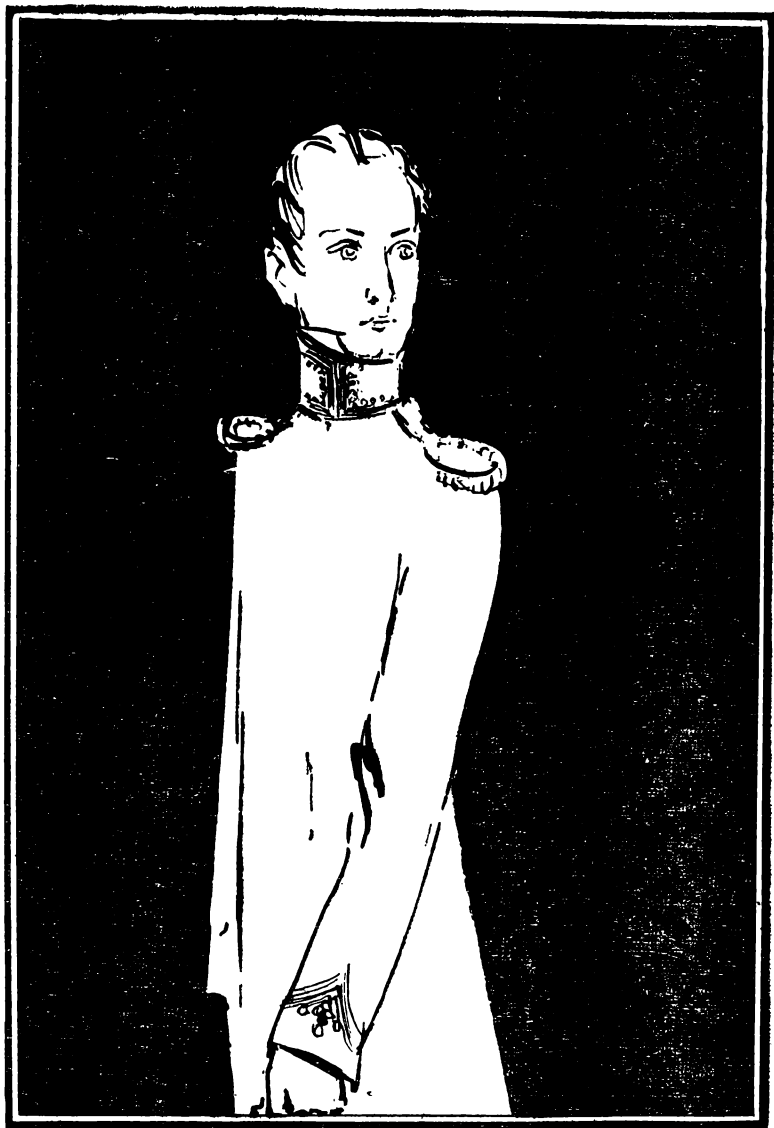


Игорь Смольников
**ОН
ВОЛЬНОСТЬ
ХОЧЕТ
ПРОПОВЕДАТЬ!**









Игорь Смольников

ОН
ВОЛЬНОСТЬ
ХОЧЕТ
ПРОПОВЕДАТЬ!

Страницы жизни П. Чаадаева

ЛЕНИНГРАД
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1975

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

ЛЕЙБ-ГУСАР





*В союзе с верой и надеждой,
С мечтой поэзии живой
Еще в беседе вечевой
Шумит там голос ваш мятежный.*

В. Ф. Раевский



аадаев шел по хорошо знакомой
улице к лицейскому саду.

Сквозь листву сверкали золотые маковки дворцовой церкви.

На веранде дома знакомого генерала пили чай. Медный самовар тоже, как золотой, плавился в солнечных лучах. Сам генерал сидел спиной к улице, по которой проходил мимо его дома Чаадаев.

Генерал был хлебосол, балагур и любил рассказывать, как его полк квартировал под Парижем. А кроме того, у него томились на выданье три дочери, и он выказывал ревностное внимание молодым и немолодым, но холостым офицерам.

Чаадаев весело подумал о том, что они оба с генералом люди друг другу совершенно бесполезные.

Его достатку вряд ли кто-либо мог позавидовать. Разве что бедные армейские офицеры...

Богатство Чаадаева состояло в том, что в свои двадцать четыре года он познал радость чтения книг и сосредоточенного размышления.

Его занятия были неведомы большинству его однополчан и давали ему такую полноту жизни, о которой те даже не подозревали.

Манеж, стрельба из пистолета, дружеские попойки, карты и даже амурные приключения не занимали и половины его времени, а тем более не могли дать пищи уму.

Книги — вот что не просто открывало ему новые миры, но втягивало в активное переживание всего происходящего на земле.

Чаадаев любил повторять слова Байрона из «Паломничества Чайльд-Гарольда»:

'Tis to create, and in creating live
A being more intense, that we endow...¹

Шаги отбивали ритм стихов.

Шпоры звоночками вздрагивали на каждом шагу.

Чаадаевские шпоры, при общем для всех военных стандарте — как стали говорить на английский лад с начала века, — имели одну особенность и звенели не так, как у всех.

Различить их музыку мог, разумеется, только он, так как на колесики шпор пошли две серебряные монетки, звеневшие когда-то в монистах одной эльзаски.

Она разорвала монисто и высыпала ему на ладонь сверкающие кружочки, чтобы он мог выбрать себе несколько из них на память. Больше она ничего не требовала от русского офицера, который успел свести ее с ума.

Монетки были удобные — с дырочками, только и предназначенные для девичьих монист и звонких шпор...

Придерживая рукой саблю, Чаадаев взбежал на крыльцо дома недалеко от Лицея и постучал.

Лакей, увидев корнета, пошел докладывать хозяйке.

В этом доме, хотя и был уважаемый всеми хозяин, знаменитый писатель Николай Михайлович Карамзин, заправляла всем хозяйка, милая красавица Катерина Андреевна Карамзина.



Чаадаев появился в их доме вскоре после того, как войска вернулись из-за границы. Он был еще очень молод, но даже Катерине Андреевне было неловко называть Чаадаева так же, как и его сверстников — по имени.

¹ Здесь творчество, и в творчестве — вторая,
Двойная жизнь, сгущенность бытия...
(Перевод Г. Шенгели)

Он выглядел старше своих лет и никогда не был для нее милым светским приятелем, просто Петром, может быть, даже Петрушей, которого легко и пожурить, и приласкать, как, например, этого сорванца-лицеиста Пушкина.

Корнет Чаадаев сразу предстал в их доме как очень взрослый и не очень, не до конца понятный человек.

В зале уже собрались гости: Жуковский, профессор истории Кайданов, журналист Свиньин, Александр Тургенев и несколько мало знакомых Чаадаеву господ.

Были еще двое: Софи, четырнадцатилетняя дочь Карамзина, и юноша в мундире лицеиста.

Они стояли особняком и о чем-то весело шептались.

Лицеист вдруг сорвался с места, нимало не смущаясь тем, что бросил свою барышню.

— Вы Чаадаев? — спросил он с той непосредственностью, которая подчас действовала на Чаадаева, как хорошее кресло на кремень.

— К вашим услугам, — поклонился Чаадаев.

— Нам непременно надо поговорить!

— О чем же? — Чаадаев с интересом разглядывал юношу.

— О войне! О Франции!

— О Франции — пожалуй, — возразил Чаадаев. — О войне лучше забыть.

— Ах, нет! — воскликнул его собеседник. — Я вам так завидую!

Подошла Софи.

— Петр Яковлевич, — в ее голоске слышалась обида, — попросите Александра прочитать свои стихи. А то он только смешит, а стихов читать не хочет.

Чаадаев вспомнил рассказ Грибоедова о лицеисте, который пишет прекрасные стихи.

— Я имею честь говорить с Александром Пушкиным?

Юноша наклонил голову.

Софи переводила быстрые глаза с одного на другого.

— Хотите? — спросил Пушкин у Чаадаева, взглянув на Софи.

— Хочу.

— Пойдемте сядем, — предложил Пушкин.

Вслед за Софи и Чаадаевым он прошел к дивану,

подальше от остальных гостей, и, озорно поблескивая глазами, прочитал:

Издавна мудрые искали
Забытых истины следов
И долго, долго толковали
Давнишни толки стариков.
Твердили: «Истина нагая
В колодезь убралась тайком»,
И, дружно воду выпивая,
Кричали: «Здесь ее найдем!»
Но кто-то, смертных благодетель
(И чуть ли не старик Силен),
Их важной глупости свидетель,
Водой и криком утомлен,
Оставил невидимку нашу,
Подумал первый о вине
И, осушив до капли чашу,
Увидел истину на дне.

— Опять вы шутите, Александр, — сделала капризную гримаску Софи.

Чаадаев сказал:

— Шутка хорошая, но вы допустили одну неточность.

— Какую? — живо спросил Пушкин.

— В древности не принято было говорить об истине. Слово это едва встречается у древних философов. Они рассуждали о мудрости.

— А может быть, и нет, — вставила Софи.

Александр рассмеялся.

Софи сердито поднялась и ушла от них прочь.

— Я вам прочту другие стихи, — Александр возбужденно смотрел на Чаадаева, — тоже о древних, но другие.



Они перешли в соседнюю комнату, чтобы им не мешали.

Читая, Александр успокоился.

Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице,
Венчанный лаврами, в блестящей багрянице,
Спесиво развалясь, Ветулий молодой
В толпу народную летит по мостовой?

Смотри, как все пред ним смиренно спину клонят;
Смотри, как ликторы народ несчастный гонят!

Недавно в Петербурге Чаадаев видел, как из ворот великокняжеского дворца на Невском выкатилась карета — два прилично одетых господина, оказавшиеся рядом, застыли едва ли не навывтяжку и поспешно сдернули с голов шляпы...

Тогда Чаадаев лишь поморщился: слишком уж привычной была эта картина.

Теперь, слушая стихи, обостренно воскрешал в памяти тот случай.

Куда он летел, наш петербургский Ветулий? Куда торопился? Может быть, кому-то там, в толпе, и казалось, что он спешил по неотложным государственным делам. Но корнет Чаадаев, возвращавшийся из штаба гвардейского корпуса, совершенно точно знал, что в тот день никаких спешных, важных, а тем более неотложных государственных дел быть не могло.

Столица прозябала в лени. Царь хандрил во дворце и никакими делами не занимался.

Так куда же в таком случае летел Ветулий? Зачем разгонял людей криком его фореитор? Во имя чего вообще вся эта суета? Да и кто был он, сидящий в карете? Чаадаев не посмотрел, свернул в сторону и пошел своей дорогой. Может быть, великий князь? Или какой-нибудь генерал, «любимец деспота», как сказал этот лицеист в своем стихотворении?

Какая разница!

Раньше Чаадаев снисходительно воспринимал упражнения отечественных пиитов. Исключение делал, пожалуй, лишь для Давыдова. Но Денис Давыдов был свой, гусар, и его стихи являлись скорее даже не стихами в обычном смысле этого слова, а какой-то особой принадлежностью гусарского быта, чем-то вроде горящего пунша или метких выстрелов в туза.

Стихи лицеиста напоминали рокочущие строчки Горация и гордую лирику Байрона, но в них была своя логика и свой особый музыкальный склад.

Пускай бесстыдный Клит, слуга вельмож Корнелий
Торгуют подлостью и с дерзостным челом
От знатных к богачам ползут из дома в дом!

Я сердцем римлянин; кипит в груди свобода;
Во мне не дремлет дух великого народа.

Разве это Рим? Вернее, разве только Рим? Пусть этот юный поэт называет героев латинскими именами, но ведь все, о чем он пишет, происходит в России, сейчас, в одна тысяча восемьсот шестнадцатом году!

Откуда он взялся, этот обличитель?

Грибоедов рассказывал вскользь о том, что стихи юноши печатались не то в «Вестнике Европы», не то в «Российском музеуме».

Но Чаадаеву все было недосуг прочитать, не стихами была занята его голова.

А Грибоедов бесспорно прав; и скорее всего не он говорил об этом Александре Пушкине вскользь, а Чаадаев вскользь воспринял. Грибоедов, конечно, не мог о таких стихах говорить мимоходом:

Исчезнет Рим; его покроет мрак глубокой;
И путник, устремив на груды камней око,
Воскликнет, в мрачное раздумье углублен:
«Свободой Рим возрос, а рабством погублен».

«Вот так когда-нибудь прочтут и о нашей эпохе», — подумал Чаадаев.

Александр кончил, смолк, плотно сжал губы и лишь дышал глубоко.

— Вам понравились стихи? — спросил он наконец.

— Да, — ответил Чаадаев, подумав, что они затронули его скорее не как стихи, а как нечто большее, всколыхнувшее в нем близкие мысли и чувства.

— Мне они тоже нравятся, — с подкупающим прямодушием признался Александр.

Он почувствовал, как Чаадаев слушал.

Пушкин уже знал цену и многословным восторгам и таким вот сдержанным, как у этого гусара, замечаниям, а потому начал проникаться к нему доверием и подумал еще о том, что, несмотря на возраст и свою неотразимую гусарскую внешность, Чаадаев чем-то близок и нескладному Кюхле и увальню Антону.

Его братья-лицеисты не подозревали, что в этот момент сердце Александра Пушкина приоткрылось для нового друга, и этот друг вскоре успешно будет соперничать в нем и с

Вильгельмом Кюхельбекером, и с Антоном Дельвигом, и с Иваном Пушковым, и с другими...

Чаадаев же до встречи с Пушкиным полагал, что беспокойство гражданина — удел лишь тех, кто воевал с Наполеоном и был в заграничном походе. Но, значит, к счастью, ошибался: в России подросло новое поколение, которому также не чужды благородные порывы.

Думать об этом было тем более отраднее, что представитель этого поколения являлся питомцем лицея.

Лицей с дворцом связан аркой...

Чаадаеву, помнится, кто-то, смеясь, передавал, что такая связь позволяет кое-кому из лицеистов успешно амурничать с молоденькими фрейлинами.

Но если рассуждать серьезно, близость ко двору развращает лишь тех, у кого к тому есть склонность. А в России всегда находятся люди, которых не обольстишь ни чинами, ни дружбой с венценосцами. Напротив, подобная близость обостряет их совесть.

Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.

Это написал Державин.

Самое забавное, что эти стихи всего лишь переложение восьмидесяти первого псалма царя Давида, а псалтырь — законная часть ветхого завета, утвержденная в свое время вселенским собором.

Вот и разберись, где что.

Державину пришлось давать объяснения по поводу его псалом...

«На опасный путь становится лицеист», — подумал Чаадаев и повторил про себя строчки:

«С развратным городом не лучше ль нам проститься, где все продажное: законы, правота, и консул, и трибун, и честь, и красота?»

Тут уж не сошлешься на текст священного писания! Аллегория до предела прозрачна.



Солнечный луч зажег изумруд в перстне Карамзина.

Он отодвинулся с рукописью в тень на край стола, надел очки и стал читать, делая большие паузы между фразами, словно давая отстояться смыслу.

Спешить было некуда.

Древняя история давно завершила свой ход и позволяла разбирать себя несуетливо.

Чаадаев узнавал в слогe прежнего Карамзина, автора «Острова Борнгольма», «Сиерры-Морены» и других произведений, которыми зачитывался в отрочестве. Но на этот раз не было любовной интриги, а распутывался клубок заговоров, мести, вражды.

Эпизод нанизывался на эпизод, событие на событие, один князь сменял другого, и мнилось, будто магический клубок запутывается еще крепче и никогда никому не докопаться до смысла всех этих междоусобиц, подсиживаний и предательств.

Местами журчащий слог автора перебивала иная речь, торжественная и не всегда складная — это звучали старинные документы и летописи.

По мере того как росла стопка прочитанных листов, росло и недоумение: неужто, кроме всех этих князей, князьков, митрополитов и стольников, никакого другого люда на Руси не существовало и он никак не проявлял себя? Если верить тому, что написано Карамзиным, вся суть русской жизни состояла в чехарде власть предержащих.

А так ли это?

За два года походов Чаадаев понял, как прочно его судьба связана с судьбой простонародья. Он уважал солдат, прошагавших всю Европу. Что сделали бы офицеры и генералы, если бы не тысячи этих людей, которые не произносили громких слов, зато умели **самоотверженно** и умно сражаться на последней войне?

Но ведь потому-то мы и говорим о последней войне, что это наша война, то есть наш опыт, наша жизнь. А до этой войны были другие, и всегда в них вовлекались тысячи людей — не воеводы, а простые ратники.

Но о них — ни полслова, словно их и не было.

«Возможно, это и не дело историка? — спросил себя Чаадаев. — Тацит, Ливий, Флавий тоже почти ничего не пишут о пахарях, виноделах, кузнецах. Может быть, писать

о простых людях — задача романиста, как выражаются нынче журналы?»

Чаадаев оглядел слушателей.

Жуковский закинул ногу на ногу и смежил глаза. Кайданов впился своими острыми глазками в чтеца и, кажется, даже причиняет ему этим некоторое беспокойство. Тургенев, как всегда, развалился небрежно и поигрывает брелоками. Катерина Андреевна покоится в кресле напротив мужа, иногда беззвучно шевелит губами, повторяя за Карамзиным слова, и, как подозревает Чаадаев, слушает этот отрывок не первый раз. Александр внимает истово, то глядя широко раскрытыми глазами в бледное лицо Карамзина, то переводя их на окно, где за стеклами трепещет листва.

Александра, как и остальных, захватило чтение.

Он отчетливо видел хитрые, жестокие лица князей, богато украшенные терема, толпу смердов на широкой площади...

Хотя Николай Михайлович лишь бегло упомянул о смердах, без них не получалось законченной картины.

Александр понимал, что толпа престолярства неуместна в чинном сказании, но для полноты картины рисовал в своем воображении и ее.

Должны же были эти князья кого-то топтать своими породистыми конями? Без этого картина была бы и вовсе неполной! Древняя Русь ничем не уступает Древнему Риму. Николай Михайлович это блестяще подтверждает своим рассказом...

Потом он подумал о том, что, несмотря на исторические повести самого Карамзина, трагедии Озерова, Сумарокова и разные прочие сочинения, писатели еще так мало берут из этой истории. А тут ведь все: и зло, и добро, и правда, и выдумка... Взять бы эту старину и превратить в сказку!

«Сказка — ложь, да в ней намек», — плеснулась в памяти поговорка, слышанная еще в детстве.

Но сказку надо писать простую, без романтических бредней. Тут за Василием Андреевичем все равно не угнаться. Ах, хорошо будет приняться за такую сказку!

Однако почему — сказку? За поэму!

Ну ясно же, это будет поэма! Большая, в нескольких песнях, и сюжет такой, что сам Василий Андреевич ахнет.

Совсем не «Бова», «Бова» — что? Детское мечтанье. К «Бове» и возвращаться нет никакой охоты...

А где-то рядом текла стройная речь о гибели и славе русской земли в то лихолетье, когда стонала она от княжеских распрей и набегов татар.



Карамзин дочитал последнюю страницу, снял очки, прижал к глазам ладони. Довольно рассеянно выслушивал первые хвалебные реплики гостей, умиротворенно улыбался.

Все получалось так, как он хотел: спокойный день, внимательные друзья, жена и дочь, присутствие которых всегда доставляло ему тихую радость. Жаль, почему-то не приехал Державин...

— Что Гаврила Романович? — обратился он к Жуковскому, который посетил накануне поэта.

— Сбирался нынче к вам, да, видно, захандрил, — ответил Жуковский. — Пора в Званку — там хандра его не берет.

— Места отменные, — вставил Свиньин.

— «Возможно ли сравнять что с вольностью златой, с уединением и тишиной на Званке?» — мечтательно продекламировал один из гостей.

Все и обошлось бы этой цитатой, столь уместной при упоминании о здоровье и настроении маститого поэта, если бы другого гостя не толкнул озорной бес.

— Почему бы и не сравнять? — подхватил гость. — В Грузии тож золотая вольность и тишина.

Карамзин откинулся в кресле и остановил долгий взгляд на лице гостя, а Свиньин так даже охнул от этой бестактности: именем Грузино, которое соседствовало со Званкой, владел Аракчеев.

— История открывается потомкам. Нам порою мешает желчь, — решил замять неловкость Жуковский, у которого вдруг исчезло выражение блаженства на круглом, гладко выбритом лице. — Поверьте, Грузино не помеха для наших рвений. Впереди у нас обширное поприще.

— Боюсь, — усмехнулся гость, — граф Аракчеев оставит вскоре русским дворянам для поприща одни плац-парады.

— Вы нынче дурно настроены, — сказал Жуковский и отвернулся.

— Нимало, — не утихал гость. — Меня сейчас другое заинтересовало. Позвольте спросить вас, Николай Михайлович?

— Я слушаю, — отрешенно кивнул Карамзин.

— Военные поселения — это мысль графа или... — он замялся, подыскивая слово, но не нашел и только щелкнул пальцами, — этому сыщутся примеры в русской истории?

Жуковский встал и прошелся по ковру.

Нет, разве можно в таком тоне обсуждать предприятия военного министра? Да еще где? Добро бы, Николай Михайлович был один, без свидетелей. Хотя известно, что такие разговоры вообще Карамзину неприятны. Но здесь господа из лица, Свинын... Кто знает, чем все это может обернуться?!

— Каждая эпоха дает что-то свое, — прозвучал в тишине ровный голос Чаадаева. — Мы прославимся поселениями графа Аракчеева.

— А война с Буонапартом? — встрепенулся один из гостей, не уловив чаадаевской иронии.

— Господи, да объясните толком! — не выдержала Катерина Андреевна. — А то я только и слышу — поселения, поселения, а что они такое — неизвестно.

— Мы и не узнаем, — саркастически заметил Тургенев, — сия реформа, слава богу, не для дворян, а для народа.

Пушкин сидел как на иголках, но в разговор не вступал.

— Я полагаю, — Карамзин тщательно подбирал слова, — это задумано на благо. Солдат служит двадцать пять лет и от дома оторван. Поселения вернут его в семью. Он сможет крестьянствовать, а при опасности — защищать отечество.

— Когда была беда, — снова ровно и твердо заговорил Чаадаев, — русский мужик сам пошел в ополчение.

— Нам пока трудно судить... — хотел было примирить всех Кайданов.

— Нет, почему же, — перебил его Тургенев, — зная страсть Аракчеева к фрунту, можно себе представить жизнь в этих поселениях!

— Не было печали, — вздохнул Свињин.

— А все же, Николай Михайлович, — решился напомнить Пушкин, — как было в старину?

— Граф Аракчеев строит не на пустом месте... — Карамзин словно размышлял вслух. — Запорожская Сечь... Казацкие крепости на Урале... Там тоже вели хозяйство, а при нападении врагов брались за оружие.

Он замолчал.

Чаадаев выждал паузу:

— Вы не упомянули стрельцов.

— Стрельцов? — Карамзин почуял подвох. — Нет, стрельцы, правда, жили в слободах, но, по сути дела, в самом городе...

— А кроме того, — Чаадаев утверждал свою мысль, — стрельцов никто силой не поселял там. Они ведь не были крепостными?

— Нет, — подтвердил Карамзин.

— Запорожцы — тоже, — продолжал Чаадаев. — Ни Сечь, ни крепости нам не объяснят Аракчеева.

— Так что же вы предлагаете, Петр Яковлевич? — словно искра, вспыхнул вопрос Пушкина.

— Я пока ничего не предлагаю. Я думаю.

— Вот, не было у нас забот, — опять горестно вздохнул Свињин.

— Господа! — громко заявил Жуковский. — Оставьте на время историю. Хозяйка просит к столу.

Это был, несомненно, самый верный способ увести всех прочь от рискованных предметов...

Посвистывал самовар; реплики о Дидло, Семеновой и других петербургских артистах врывались в общий разговор, словно струйки пара, мирно бившие из-под крышки самовара.

Карамзин внимал застольной беседе, сам вставлял к месту замечания, но чутко улавливал и то, что Пушкин и Чаадаев думают о прерванном разговоре.

Он тлел в них, словно угли под пеплом. Можно было без особого труда разгадать значение их взглядов и недомолвок. Друг друга они понимали отлично.

«Чего доброго, они сочли меня ретроградом, — с пе-

чальной усмешкой подумал Карамзин. — А какой же я ретроград — попятчик, как сказали бы по старинке? И тоже всей душой ненавижу рабство, но ведь не мне и не этой славной молодежи суждено двигать историю. На все воля бога...»

Он сидел во главе стола, помешивал ложечкой чай, налитый в чашку мейсенского фарфора, и тоже внутренне отдалялся от общей беседы. А проникнуть в тайный мир тех двоих было так же трудно, как разгадать суть загадочного света, которым мерцал зеленый камень его перстня.

Карамзин обратил внимание на то, что у Чаадаева на безымянном пальце серебряное, почерневшее кольцо с изображением черепа.

Точно такое же кольцо лежало у Карамзина в шка-
тулке...

«Чаадаев — масон и не скрывает этого,—подумал он,—нынче масонство опять в моде. Может быть, они повторяют наш путь?»



Гости разошлись не поздно.

Пушкин словно боялся, что Чаадаев может ускользнуть от него, наскоро попрощался с Карамзиным, с Катериной Андреевной и даже, изменив своей привычке, не пошутил на прощанье с Софи.

Он сказал, что проводит Чаадаева.

Шумели высокие деревья. От парка веяло прохладой. Он жил своей загадочной, вечерней жизнью. В глубине, меж стволов, мелькали какие-то фигуры, в светлых одеждах, огни факелов...

Чаадаев и Пушкин медленно шли вдоль ограды.

— Каково же будет ваше поприще после лица? — спросил Чаадаев.

— О, нас готовят к самой высокой деятельности — к государственной! — важно произнес Пушкин. — Да мы насмотрелись на наших государственных деятелей.

— На Аракчеева тоже? — Едва заметная улыбка тронула губы Чаадаева.

— Однажды мы едва не сбили его с ног! — оживился Александр. — Я и трое моих друзей — мы бегали в парке. Но самое ужасное, — Александр сделал уморительное лицо, — на нас были расстегнуты мундиры. Директор объяснялся с самим государем.

— Надо приучаться застегивать себя на все пуговицы, — меланхолично заметил Чаадаев. — Без этого у нас нельзя.

— Ах, скорей бы выпуск! — вырвалось у Александра. — Сбросить этот мундир!

— Не торопитесь. Вместо этого вам дадут другой.

— Зато свобода! Сам себе господин. Я сегодня решил... Признаюсь только вам. Когда Николай Михайлович читал, я подумал: надо писать поэму в русском народном духе.

— Разве нет таких поэм?

— Сколько угодно! — рассмеялся Александр. — Но я-то задумал совсем иное.

— Увы, отечественную словесность я знаю хуже, нежели английскую или французскую...

— Немудрено.

— Отчего же?

— У нас нынче и всего-то несколько писателей: Державин, Крылов, Карамзин, Жуковский и Батюшков. «Мы все с Невы поэты русски», как сказал Батюшков. Теперь очередь за нами!

Эти слова не показались Чаадаеву обидными для тех, чьи имена назвал Пушкин.

«Кое-чего наши уважаемые Василий Андреевич и Николай Михайлович увидеть уже неспособны, — подумал Чаадаев. — Александр прав, теперь слово не за ними. За нами! Все видят, что после войны с Наполеоном мы уже не те, что были раньше. Много можно задавить, но не мысль. На мысль вицмундира не наденешь».

Чаадаев искоса поглядел на шагающего рядом спутника и улыбнулся: верхние пуговицы его мундирчика были расстегнуты, фуражку он держал в руке и размахивал ею.

Они шли по каменному тротуару, и чаадаевские шпоры вновь радостно позванивали.

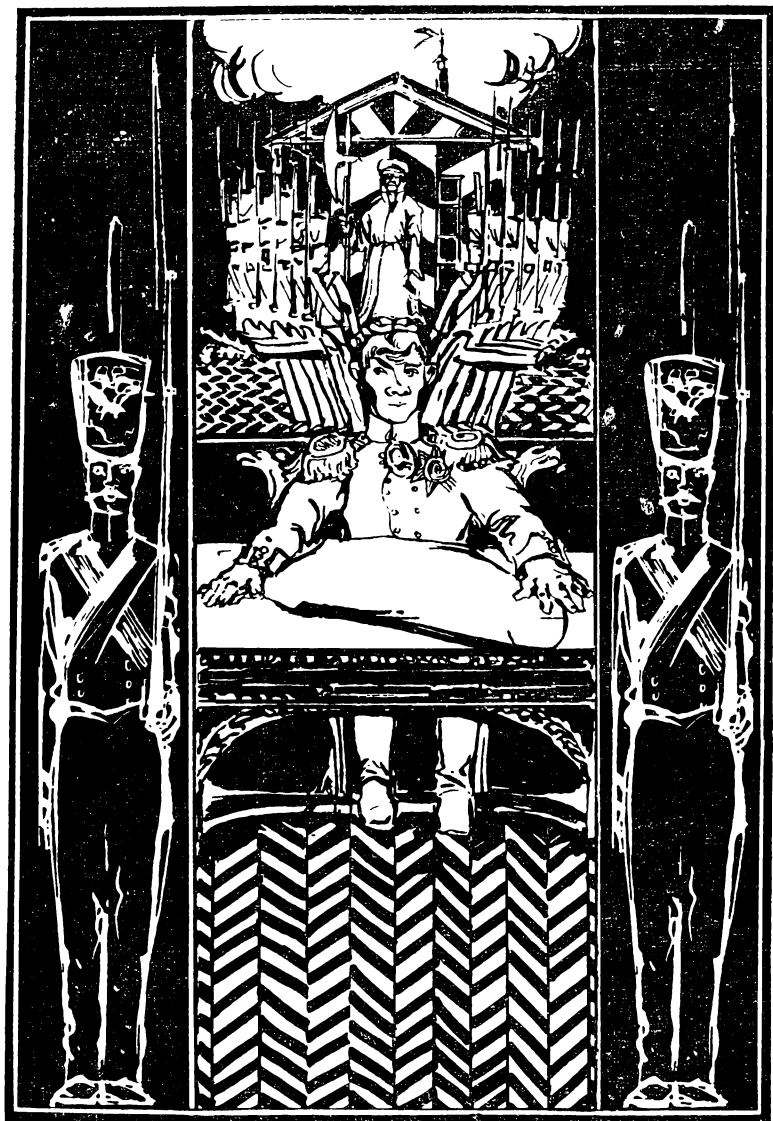
— Нет, — сказал Чаадаев вслух, — вам, Александр, мундир не пойдет.

— Какой мундир? — удивился Пушкин.
— Тот, который вы лелеете надеть после лицея.
— Я еще не знаю, куда определюсь.
— Определяйтесь в вольные поэты, — улыбнулся
Чаадаев.

— А если не получится?

— Надо, чтобы получилось! — Чаадаев посмотрел в
искрящиеся глаза юноши и повторил: — Надо!





*Твой гений над головой моей парил,
В стихах моих, в душе тебя любил
И призывал, и о тебе терзался!..*

А. С. Грибоедов



Чаадаев сидел в кресле и перелистывал хрустящие страницы «жития» и «сокращения философии канцлера Франциска Бакона», переведенные с французского более полувека назад в Санкт-Петербурге Василием Тредиаковским.

На обороте титульного листа было помещено «извещение сократителево», в котором Тредиаковский объяснял свой замысел: «...возбудить людей, имеющих некоторую силу разума, к чтению подлинника, а увольнить бы от того не могущих иметь время и не желающих воспринять труд пойти к самому источнику».

Чаадаев прочитал Бэкона сначала в подлиннике, и вот теперь, любопытствуя, ознакомился с тем, как излагал английский философа русский писатель прошлого века.

Надо было признать, делал это Тредиаковский весьма точно, главное же — доходчиво. А некоторые изречения было бы не худо повесить даже в царском дворце...

«Преизрядно, без сомнения, получит себе счастья в службе у государей или при вельможах, когда кто обходится прямо с ними; но из всех подлостей самая бесчестная, есть ласкательство: возвышаться, ползая, что за недостойность!»

Сколько таких «возвышений» прошло на глазах у ротмистра Чаадаева!

Мир мало изменился со времен английского мудреца. Разве мыслимо, чтобы кто-нибудь из придворных стал бы «обходиться прямо» с Александром Первым или с Аракчеевым?

Такое позволял себе едва ли не один Державин — он сам писал, что первый «дерзнул»

В сердечной простоте беседовать о божьей
И истину царям с улыбкой говорить.

Да, поэты подчас обретали мужество и вели себя независимо.

Как сказано у того же Тредиаковского, сиречь у Бэкона:
«Поэзия есть род полевого деревца, которое, растя в дикой земле, возрастает вскоре выше всех древ...»

Чаадаев оторвался от книги и медленно произнес вслух:

Мы ждем с томленьем упования
Минутой вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минутой верного свиданья.

Эти стихи вот уже скоро два года жили в нем, но только в последнее время он, кажется, стал осознавать магическую их силу.

Раньше зачитывался ими, твердил, как молитву, впитывал их слова, как впитывают молодое, веселящее вино; все его мысли, все его существо восторженно отзывалось на них, и в то же время они оставались какой-то загадкой.

Послание Пушкина, начинавшееся словами «Любви, надежды, тихой славы...», было как-то обнаженно просто, но действовало сильнее, чем всякие другие стихи на русском языке. И было не до конца понятно, почему именно оно так возбуждает, а не строчки Радищева, который так же, как и Пушкин, осмеливался писать о самовластье и свободе.

Вот они, гулкие и гневные, как звук набатного колокола, стихи о вольности из радищевского «Путешествия»:

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна,
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает;
В различных видах смерть летает,
Над гордою главой паря.
Ликуйте, склепанны народы
Се право мщенье природы
На плаху возвело царя.

Торжественно, гордо и отрешенно от каждодневной речи. Радищев знал, как надо ковать поэтическую крамолу.

Из всех нынешних один Рылеев ближе всего к этой поэзии. У него тоже есть строки, как бердыш, рубанувшие по сердцу.

Однако их стихи удобно читать на площади, с помоста, бросая над толпой раскатистые, но тяжеловесные фразы. Восемнадцатый век или, как сказал Радищев в заглавии одного своего стихотворения, «осмнадцатое столетие», дышало в этих ямбах.

У нас же на исходе второе десятилетие девятнадцатого века. Он только начался, а мы уже успели полюбить иную литературу — Гете, Байрона и наших — Карамзина, Жуковского, Батюшкова. Они приучают разговаривать по-другому: проще, человечнее, мягче.

Пушкин тоже сочиняет по-другому. Пишет, как говорит, со своей милой, задушевной интонацией, словно заглядывает в сердце. Ему не нужны все эти ветшающие обороты, которые годятся скорее для церковной проповеди, нежели для поэзии.

Ну, кому другому, кроме Пушкина, могло прийти в голову сравнить святую вольность со свиданьем? А он сделал это словно бы мимоходом, вставил в стих, как нечто само собой разумеющееся. Вот в чем соль! Он освобождает высокую поэзию от громких слов. И делает это просто, естественно, с шуткой и даже подчас с милыми глупостями, которые только он один умеет к месту вставить в стихи.

Для него не существует высокого и низкого. Есть жизнь — со всем ее хорошим и плохим; он делится мыслями об этой жизни, нисколько не заботясь о том, чтобы его стихи укладывались в узкие рамки пиитик.

О вольности он пишет с таким же трепетом, как о любви. А о любви с таким же благоговением, как о вольности.

Воистину, «растя в дикой земле», стал он в нашей поэзии «выше всех древ...»



В прихожей звякнул колокольчик, и Чаадаев услышал, как застучали шаги по коридору, — это камердинер Иван Яковлевич пошел встречать гостя.

«Кто бы это мог быть на ночь глядя?» — подумал Чаадаев, прислушиваясь к звукам из прихожей и откладывая в сторону тяжелый том. А там хлопнула дверь — и раздался голос Пушкина:

— Дома? Я знаю — дома. Свечи в кабинете горят. По-ди, Иван Яковлевич, доложи.

Пушкин стряхивал с шинели снег, нимало не печалась о том, что на паркете натеет лужа. Но Иван Яковлевич не сердился. Он питал расположение к Пушкину.

Иван Яковлевич был непростой человек: читывал разные книги, знал по-французски и понимал толк в моде не хуже Петра Яковлевича, которого был старше на семь лет.

Глядя со спины на его отлично сшитый сюртук и панталоны, Пушкин подумал, что этот камердинер, со своим умением держаться и осанкой, мог бы поучить манерам и кое-кого из столичных шаркунов.

Пушкин по привычке бросил взгляд на свое отражение в зеркале, но не задержался и на приглашающий жест Ивана Яковлевича быстро вошел в чаадаевский кабинет.

Если бы вы не знали, кому он принадлежит, то вряд ли догадались, что его хозяин — гусар. Ничего гусарского, военного здесь не было и в помине. Скорее вы сказали бы, что тут поселился старый мудрец, который поставил своей целью перечитать все книги на свете.

Поздоровавшись, Пушкин сразу же бросился в кресло у камина. Подвигал кочергой горящие поленья, протянул руки к огню. Но долго не усидел, вскочил, отворил шкаф, принялся выдергивать с полок книги, перелистывать их и резко вдвигать на место.

— Что это вас носит в темень да еще в такую погоду? — ворчливо спросил Чаадаев, но Пушкин почувствовал, что хозяин, как всегда, рад его внезапному вторжению.

— Последняя мартовская метель, — радостно сообщил Пушкин. — Чудно-хорошо!

— Ничего хорошего, — пробурчал Чаадаев. — Вы же собирались в театр?

— Передумал. — Пушкин закрыл шкаф, опять принялся за поленья, сказал с оттенком пренебрежения: — Там нынче Колосова.

— Отчего же ей вдруг да отставка?

— Вдруг? — Пушкин швырнул кочергу на медный лист перед камином. — А вы сами, Петр Яковлевич?

— Я давно нахожу наслаждение в другом.

— А я? — воскликнул Александр. — Еще год назад я хватал все, чем дразнила меня жизнь. Но вслед за вами я многое постиг. Теперь я разборчивей. — Последние слова он произнес медленно, с явным удовольствием. — Вообразите, учусь не бросаться на всякую новинку. Если в последнем нумере журнала есть что-то замечательное, оно останется таким и завтра. Шекспир писал за двести лет до нас, а наш современник берет «Ромео и Джульету», и все злобы дня для него меркнут.

— Вы становитесь философом.

— Мне кажется, просто я становлюсь поэтом.

Он снова сел в кресло и уставился на огонь.

Чаадаев перебрался от стола к камину — огонь стал ближе, он озарял лицо Александра, трепетал в его глазах.

— Хотите пуншу? — предложил Чаадаев и позвонил Ивану Яковлевичу...

В чеканной ендове вспыхнуло пламя.

Чаадаев наполнил бокалы.

— А все же, что вам дома не сидится?

— Вас не перехитришь, — засмеялся Александр. — Я написал восемь строчек. Так, безделицу, но мне захотелось прочитать вам.

Он поставил пустой бокал на ковер и негромко, словно в раздумье начал:

Мне бой знаком — люблю я звук мечей;
От первых лет поклонник бранной славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей.

Потом голос его стал громче, а в конце стихотворения зазвучал с лукавством:

Во цвете лет свободы верный воин,
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жен лобзаний не достоин.

— Вы не боитесь, что однажды Аракчеев разгадает тайный смысл многих ваших стихов?

— Был бы рад, — с гордой беспечностью встрепенулся Александр, и для Чаадаева сразу воскрес прежний Пушкин, обычный для светского Петербурга Пушкин — весельчак, повеса и балагур.

— А я нет, — жестко заметил Чаадаев. — Вы еще не довольно знаете этих господ.

— Зачем мне их знать! — отмахнулся Александр. — Выпьем лучше за милых жен. — Он снова стоял перед Чаадаевым, а голос его дразнил. — Известно ли вам, где пребывают сейчас Каверин и Горчаков? Вас не терзает зависть?

— Ах, Пушкин, Пушкин!

— Один мой приятель резонно говорит, — с вызовом глядел Александр на Чаадаева, — можно оставаться серьезным человеком и ездить к хорошеньким женщинам.

— У Каверина с Горчаковым это что-то не получается.

— Пусть получится у нас. Нельзя жить анахоретом!

— По-вашему, я анахорет?

— Несомненно.

— Вот как...

Чаадаев медленно отпивал из своего бокала.

— Но наипаче всего вы — загадка. — Глаза Пушкина опять весело заблестели. — Особливо для дам. Танцуете вы превосходно, а целуете ручки с неохотой.

— Вы и это подметили?

— Да-с. Мне еще моя няня говорила, что у меня глаз вострый.

— Так и говорила — вострый? — улыбнулся Чаадаев.

— Именно так. Представьте, я снова с ней подружился, когда ездил в деревню прошлым летом...

Они еще долго разговаривали; Иван Яковлевич несколько раз тихо появлялся в кабинете и опраивал свечи.

Часы пробили два часа ночи, когда Пушкин попрощался, накинул на плечи шинель и, перешагнув порог чаадаевской квартиры, растворился в ночном, пляшущем снеге.



На следующий день Чаадаев проснулся поздно. В окне голубело небо, ничем не напоминая вчерашней хмури.

Вот точно так же после капризов, кокетства и слез, бывало, невинно сияли глаза Катрин, вновь обещая мир и ласку...

Боже, как хорошо, что все отныне позади и он никогда

больше не испытает на себе эти потоки упреков, ревности и унижающей их обеих лжи!

Чаадаев потянулся за колокольчиком.

Без промедленья явился Иван Яковлевич с тазом, кувшином и полотенцем.

Умывшись и побрившись, Чаадаев облачился в белую рубашу и надолго сел к туалетным зеркалам.

Особых хлопот требовали волосы: они по-прежнему красиво вились, но не были так густы, как в старые времена. Ни массаж, ни щетки не помогали.

Завтрак отнимал у Чаадаева не меньше времени, чем туалет, но нисколько не походил на ритуал.

Иван Яковлевич, несмотря на собственное пристрастие к чтению, всегда втайне не одобрял то, как ел барин: и книгу перед собой непременно раскроет да и лба не перекрестит, прежде чем сесть за стол.

В то утро, однако, Чаадаеву не дали почитать за едой.

Прискакал вестовой с вызовом в штаб.

По дороге Чаадаев гадал: зачем он понадобился генералу так рано, тем паче, что дежурство шло не его, а капитана Раевского...

Генерал Васильчиков был хмур и озабочен.

— Долгонько собираетесь, — попрекнул он Чаадаева, но, оглядев его с ног до головы, остался доволен.

Ротмистр отличался особым изяществом, и этим мог расположить к себе любую особу. Кроме того, он всегда был осведомлен обо всем, что лежало далеко за пределами службы, так что одним этим оказывался совершенно необходим для генерала в иную критическую минуту. Сверх всего сказанного, Васильчиков ценил в своем адъютанте способность при всех ситуациях сохранять невозмутимость.

Это тоже могло сегодня пригодиться.

Мало ли на какую выходку угораздит ныне Алексея Андреича! Никогда о том не знаешь. Чаадаев же — в этом Васильчиков был уверен — и тут не подведет. А Раевский слишком восприимчив, у него все написано на лице...

Васильчиков еще раз придирчиво оглядел адъютанта и с удовлетворением подумал: «Остепеняться стал».

В прошлом он не раз замечал пристрастие франта ротмистра к небольшим вольностям в туалете, к легкому отступлению от строгого образа.

Чаадаев как бы подчеркивал этим свой особый, изыскан-

ный вкус. Самые скептические умы среди гвардейских молников находили эти чаадаевские вольности достойными похвалы и подражания... Генерал не одобрял этого, но и не придирался. Он ценил Чаадаева за его деловые качества.

Сейчас генерал был рад, что пребывающий в плохом настроении граф не получит лишнего повода для раздражения. А в том, что Аракчеев чем-то недоволен, Васильчиков не сомневался. Он слишком хорошо знал эту манеру царского любимца приглашать к себе в неурочный час.

Чаадаев никогда не задавал лишних вопросов. Он сидел в карете напротив Васильчикова и со спокойным дружелюбием смотрел то на генерала, то в окно кареты и больше думал о том, что наконец-то весна переломила зиму и стало по-настоящему тепло.

— Мы едем к графу, — прервал наконец молчание Васильчиков, и Чаадаев, поняв, о каком графе идет речь, кивнул.

Он знал, что генерал недолюбливает графа (впрочем, кто его в России любил?!), но, в отличие от многих, кажется, не очень-то и боялся.

Васильчиков сам пользовался некоторым влиянием на царя, был им ценим, а главное, так же, как и Аракчеев, внушал царю полное доверие. Правда, Аракчеев был правителем всех дел, учиняемых в России с благословения царя, а Васильчиков всего лишь командовал лучшими царскими войсками, расположенными в столице. Так что при известном равенстве в сердце Александра Первого Васильчиков не имел такой власти, как Аракчеев, и должен был ему в некоторых случаях подчиняться.

С другой стороны, Васильчиков привык, что Аракчеев никогда без особой необходимости не вмешивался в его дела. Никаких же промахов за собой генерал, как ни старался, не припоминал. Значит, оставалось предположить, что приглашение к Аракчееву связано с какими-то другими, может быть, весьма посторонними для Васильчикова обстоятельствами.

— Какие новости в свете? — на всякий случай задал он вопрос Чаадаеву.

Тот понял, что может иметь в виду начальник, и поэтому ему ответил:

— Никаких, ваше превосходительство. По крайней мере, вчера вечером ничего еще не было.

— А где вы были вчера? — поинтересовался Васильчиков.

— Днем — в манеже. Вечером — дома.

— Весь вечер? — удивился Васильчиков.

— Весь вечер, — подтвердил Чаадаев.

— Чем вы занимались, позвольте уж полюбопытствовать?

— Читал.

— Гм, — хмыкнул генерал. — Когда я спрашиваю Лачинова, отчего у него по утрам круги под глазами, он тоже отвечает «читал».

Он глянул на Чаадаева и расхохотался, довольный своей остротой.

Суть ее состояла в том, что другой адъютант генерала, ротмистр Лачинов, был неисправимым картежником.

— Право, не знаешь, что лучше, — продолжал в веселом настроении генерал, — за игорным столом можно потерять состояние, а за книгами — голову.

— У меня выбора нет, — заметил Чаадаев. — Состоянием я не обладаю. Приходится рисковать головой.

Ехать было недалеко, вскоре карета остановилась, и веселость Васильчикова будто ветром сдуло.

Он ловко спрыгнул с подножки, быстро взбежал по ступенькам крыльца.

Несмотря на свои сорок четыре года, генерал-адъютант Васильчиков был еще очень свеж и налит силой.



Аракчеев принял их в своем кабинете.

Плотные шторы приспущены. Лепные карнизы у потолка теряются в полумраке. В углах — незажженные светильники. Их четыре, словно четыре солдата, застывших по стойке смирно.

Граф встал из-за стола и поздоровался с генералом.

Скупой свет падал на лица вошедших, и Чаадаев испытывал неприятное и непривычное для себя чувство. Было ясно: хозяин кабинета нарочно именно так принимает посетителей. Сам он сидел за столом спиной к окну. Ты сразу

оказывался с ним не на равных. Он будто имел право высветить тебя всего и разглядывать без помех. В этом было что-то унижительное.

— Садитесь, генерал, — протянул Аракчеев руку к одному из кресел возле стола.

Голос его прозвучал негромко и как будто потерялся в просторном помещении.

Васильчиков сел, а Чаадаев отошел в сторону и получил возможность наблюдать Аракчеева сбоку. Прямой свет уже не ударял в глаза, и можно было лучше рассмотреть фигуру и лицо графа.

Чаадаев не видел его с летнего парада.

Аракчеев изменился. Лицо осунулось, складки щек отяжелели, губы казались вырубленными из дерева.

На минуту Чаадаеву почудилось, будто перед ним не живой человек, а огромный, в рост человека, деревянный щелкун, который сейчас примется со скрежетом колоть орехи. Но щелкун не производил никаких угрожающих движений. Он мирно пошевеливался в своем кресле и говорил даже как-то вяло, без воодушевления.

— Вам известно, ваше превосходительство, что в Испании революция? — тихо прозвучал его вопрос.

— Да, ваше сиятельство. — Васильчиков глядел едва ли не весело в неподвижное лицо графа.

— Прекрасно, — все с тем же унынием продолжал Аракчеев. — А вам известно, что его величество король Фердинанд объявил о созыве кортесов?

— Нет. — В голосе Васильчикова появилась некоторая растерянность.

Чаадаев внутренне напрягся.

— Так вот, должен вам сообщить: король созывает кортесы.

— Я не ослышался, ваше сиятельство?

— Нет, вы не ослышались, генерал. Король присягнул конституции.

Неожиданно Аракчеев повернулся всем туловищем к Чаадаеву.

— Что вы об этом скажете?

Аракчеев несколько секунд смотрел на Чаадаева, но отвечать-то должен был генерал, вопрос адресовался ему.

Чаадаев с бесстрастным лицом выдержал взгляд Аракчеева, но мысленно возликовал: «Вот оно, революция по-

бедила! Очень хорошо, господин Аракчеев! Вы обеспокоены? Вам, наверное, и у нас мерещатся революционеры? Но каков каналья! Никто еще ничего не знает, а он уже осведомлен и уже что-то предпринимает».

— А вам известно, ваше превосходительство, — вновь проскрипел Аракчеев, — что главарями этой революции состоят полковники испанской армии Риего и Кирога?

— Да, я что-то такое слышал. — Васильчиков всем своим видом и голосом давал понять, что испанские передраги меньше всего его интересуют и никак уж не касаются.

— Вы меня удивляете, Илларион Васильевич. Я вам говорю — полковники. Понимаете, что это такое?

— Отлично понимаю, Алексей Андреич. Бунт. Безобразия. Святотатство.

Аракчеев поднял и опустил веки, словно потушил городную вспышку генерала.

— Не о том сейчас речь. — Аракчеев опять повернулся и глянул на стоящего в почтительном молчании ротмистра. — У нас тоже армия.

— Вы хотите сказать?.. — ужаснулся Васильчиков.

— Упаси боже! — поднял ладонь Аракчеев. — Но бдительность не повредит. Я знаю, господа офицеры, особенно молодые, — граф пересилил искушение еще раз взглянуть на ротмистра, — ведут недозволительные разговоры. Это огорчает государя.

— Да, — кивнул Васильчиков, — весьма огорчает.

— Вот я и решил: надо нам совместно принимать меры.

«Ого, — подумал Чаадаев, — дело не ограничится словесной встряской. Этот щелкун за версту чует крамолу».

— Риего и Кирога, — снова заговорил Аракчеев, — потребовали у короля уничтожить инквизицию.

— Что же король? — спросил Васильчиков.

— Вынужден был подчиниться.

— Инквизицию? — сказал Васильчиков. — Она же в Испании издавна. Верно, ротмистр?

— Совершенно верно, ваше превосходительство, — ответил Чаадаев, — с тринадцатого века.

— В иных странах инквизиции как будто нет?

— В других странах Европы церковный суд давно заменен светским.

— А как ты это характеризуешь? — обратился Аракчеев вопрос к ротмистру, задерживая на нем взгляд.

Не очень ему нравился этот лощенный адъютант, хотя и придаться к нему было трудно: держался он подтянуто, молодцевато, как и полагалось адъютанту при своем генерале. Но хотя сам Аракчеев выше всего на свете ценил порядок в форме, такие вот адъютанты нравились ему меньше, чем Александру Павловичу. Частенько от подобных аристократов веяло духом вольтеррианства. А это для Алексея Андреевича было хуже всякого отступления от субординации и формы.

— Я никак не могу характеризовать это, ваше сиятельство, — не сморгнув, отвечал Чаадаев, — все метаморфозы, имеющие происходить на земле, происходят единственно по воле божьей.

— Ты так думаешь? А вот господин Риго думает иначе.

— Он поднял руку на своего короля.

— Это ты говоришь точно! — Было не понять, одобряет Аракчеев или нет ответ ротмистра. — Что же до инквизиции, то не худо бы ее возобновить.

— У нас, — не удержался Васильчиков, — никогда инквизиции не существовало.

— Погоди, Илларион Васильевич, — веселее задвигал лицом Аракчеев, — надо будет — учредим. Меня, признать-ся, кое-что беспокоит. Как бы эта испанская чума наших дураков не захмелила.

— Что-то я не понимаю, Алексей Андреич, есть подозрения?

— Подозрения всегда есть, — твердо сказал Аракчеев. — Болтунов и у нас хоть отбавляй. Вы можете поклясться, что среди ваших офицеров их нет? Не можете? Нам теперь глядеть в оба! Для того и позвал вас, Илларион Васильевич, не взыщите. Я обеспокоен. Хочу, чтобы и вы разделили мое беспокойство и также приняли меры.

— Что вы имеете в виду?

— Нам надо больше знать, о чем говорят офицеры. Это первое дело. А у нас это — из рук вон. Я хорошо осведомлен о том, что происходит в масонских ложах. И я спокоен. Хотя, знаете, — Аракчеев подвигал пальцами, — масоны тоже мне не нравятся. Тайны, загадки... Кто их знает, чего от них можно ожидать. Как ты думаешь на этот счет, ротмистр? — неожиданно щелкнул вопрос.

— Я полностью с вами согласен, ваше сиятельство, — ни на секунду не смутился Чаадаев, — насчет масонов.



На прощанье, в штабе, куда вернулись в молчании, Васильчиков едва ли не с проникновением воскликнул:

— Ах, господа офицеры, чего вам недостает?! А вы, как малые дети, комплоты сбиваете. Бросьте, советую дружески, к добру это не приведет.

Генерал-адъютант Васильчиков оказался не чужд новых понятий, и слово «комплот» прозвучало у него веско.

Сказано это было в присутствии Раевского, и Чаадаев с Раевским выразительно посмотрели друг на друга.

Не одному Васильчикову было смутно известно, что «господа офицеры» имеют между собой какой-то тайный сговор. Мало кто толком знал об этом, но догадывались. Да и кое-кто из созданного два года назад Союза Благоденствия полагал, что о его целях следует довести до сознания большинства дворян, включая и правительство, коль скоро цель Союза не разрушить правительственные учреждения России, а укрепить. В «Законоположении» Союза, как то было записано в Зеленой книге и хорошо памятно Чаадаеву, в параграфе первом значилось: «Союз Благоденствия в святую себе вменяет обязанность распространением между соотечественниками истинных правил нравственности и просвещения споспешествовать правительству к возведению России на степень величия и благоденствия, к коей она самим творцом предназначена».

Но как подступиться к правительству, ежели заправляет всем Аракчеев? Члены Государственного совета и министры без его ведома и шагу ступить не могут.

— А я в министров не верю! — решительно заявил Иван Якушкин, друг и товарищ Чаадаева по Семеновскому полку, по походам; Чаадаев пришел к нему первому, как только освободился в штабе, и передал весь разговор у Аракчеева. — Этот параграф сплошная ложь. Не на правительство мы уповаем.

Он не так давно вышел в отставку и теперь щеголял в модном фраке с пышным галстуком.

— Мы должны уповать на всех, кто проявляет благоразумие и добрую волю, — возразил Чаадаев.

— Извини, Петр, — стал злиться Якушкин, — о чем благоразумии ты толкуешь? Аракчеевском?

— Нет. Но надо устранить Аракчеева от власти. Никто же не пытался этого сделать.

— Прекрасная мысль! — Якушкин покраснелся от возбуждения. — Пока мы рассуждаем, у графа появился Фотий. А этот монах стоит Аракчеева. Они царя вот так, — Иван показал стиснутый кулак, — сожмут. Капрал да монах — что может быть «прекрасней»! Царю ни о чем не надо волноваться.

— Но мы не делали попыток говорить и с самим царем.

— Зачем? — с холодным недоумением посмотрел на друга Якушкин.

— Затем, чтобы склонить его к конституции.

— Не верю я в царскую милость.



Вечером в театре Чаадаева нашел Пушкин.

— Представляю, каково Фердинанду! — оживленно заговорил он, подсаживаясь к Чаадаеву и нимало не смущаясь соседей.

— Вы уже знаете? — внимательно посмотрел на него Чаадаев.

— Весь Петербург говорит.

— Нынче вечером весь Петербург в восторге от Истоминой.

— Истомина, как всегда, волшебна, — машинально согласился Александр, — но я променяю и ее и весь балет на то, чтобы сейчас быть там!

— О-о, — укоризненно протянул Чаадаев, приглядываясь к господину, сидящему впереди, — вы так быстро меняете свои привязанности? Кто провозглашал, что перл нашего балета госпожа Истомина?

— Я и сейчас повторю. — Александр прижался к плечу

Чаадаева. — Но весь век восхищаться одной Истоминой? Разве для этого рождаются мужчины?

— О, да, — Чаадаев поворачивал разговор на шутку, — мужчины рождаются для сверкающих кирас.

— Вы бы хотели туда?

— Я хочу досмотреть балет, приехать домой и откупорить заветную бутылку. Вы поедете со мной?

— С радостью!

В зале притушили огни. Была освещена только сцена.

«Для чего все это? — подумал Чаадаев, оглядывая ряды партера — лица, лица, лица; лица людей, хлебнувших дурмана. — Человек устроен так, что стремится к наслаждениям. Чего бы это ему ни стоило. Наши наслаждения утонченны... А там, в Мадриде, тоже упивались балетом? Или испанцы предпочитают корриду? У нас нет боя быков, зато есть балет, граф Алексей Андреич и шпицрутены. Во время экзекуций гремит барабан. Остроумно... А Истомина достигла совершенства. Половина гвардии у ее ног...»

Чаадаев представил эту картину буквально: коленопреклоненные ряды гвардейцев и тоненькая полунагая женщина в ажурной юбочке и балетных туфельках.

Ему стало смешно.

Он увидел тех же гвардейцев на грязной площади французской столицы перед собором Парижской Богоматери, глядящих на странные фигуры, которые украшали — а может быть, уродовали? — каменную громаду. И он сам — на этой площади, в пропыленном мундире...

С тех времен прошло шесть лет. Чаадаев успел узнать все, что было можно, и о химерах собора, и о балете, и о многом другом... И он начинал презирать мир, в котором уживались друг с другом эти химеры и грации.

Но в Испании-то революция! И какая — без крови и хаоса. Риго и Кирога подчинили народ железной дисциплине. Прекрасное дело не запятнано. Теперь и скептики убеждаются, что революция — это прекрасно!

Воистину, как написал Пушкин, взошла звезда пленительного счастья. Пусть пока и не у нас...

Но Александр неосмотрителен и легкомыслен, как мальчишка.



— Вы ставите под удар и себя и других, — попенял ему Чаадаев после театра.

— Других? — встрепенулся Александр. — Я давно чувствую: вокруг меня что-то закипает... Но я в стороне. Как я могу подвести других?

Он с вызовом смотрел на Чаадаева, и тот понял, что напрасно дал Александру повод вновь заговорить о тайном содружестве, в которое его почему-то не зовут.

— Ну, а меня? — с улыбкой отвел его вопрос Чаадаев. — Разве вам этого мало?

— В театре вам нечего было опасаться.

— Поймите, Александр, в России нельзя кричать на каждом перекрестке о революции.

— Я не кричал, — кажется, обиделся Александр.

— Но говорили достаточно ясно для того, чтобы состряпать на вас донос.

— Вы преувеличиваете, Петр Яковлевич.

— Я внимательно следил за господином впереди нас.

— Вы его знаете?

— Нет.

— Вот видите...

— Но он-то вас, может быть, прекрасно знает.

— Ах, какое мне до них до всех дело! — с досадой поморщился Александр. — Я вам лучше прочту стихотворение.

— Ваше?

— Увы, мое...



Назавтра Чаадаев вспомнил это веселое пушкинское «увы», когда в штабе услышал от ротмистра Лачинова:

— Не позавидуешь молодому Пушкину.

— Отчего же ему не позавидуешь? — как можно ровнее спросил Чаадаев.

— Разгневал Аракчеева.

— Вот как? — выразил удивление Чаадаев. — Чем же?

— Будто ты не знаешь той эпитафии? — недоверчиво посмотрел на своего сослуживца Лачинов.

— Это которая? «Всей России притеснитель...»?

— Вот-вот, — замахал на Чаадаева руками ротмистр, заставляя остановиться.

— Так ведь она в списках гуляет. Кто написал — неизвестно.

— Все говорят — молодой Пушкин.

— Говоренье недорого стоит. Обвинение доказательств требует.

— Ты меня удивляешь, Петр Яковлевич. До Аракчеева дошло, что автор эпиграммы Пушкин. Ну и все.

— Что — все?

— Он доложил государю.

— А государь?

— Ссылает Пушкина в Сибирь.

— Откуда тебе это известно?

— Я вчера был во дворце, — пожал плечами Лачинов.



Весь следующий день прошел у Чаадаева в каком-то двойственном состоянии. С одной стороны, ему просто не верилось, что угроза сбудется. Но с другой, он чувствовал, что это уже не угроза, а неотвратимая реальность.

Он поехал к Карамзину.

Николай Михайлович все уже знал.

— Я пытался смягчить государя, — печально признался он, — Александр сам во всем виноват. Эта его ужасная ода к свободе... Я не предполагал, что государь так хорошо осведомлен о его стихах.

— Наши цари всегда питали слабость к изящной словесности.

Ирония Чаадаева вызвала у Карамзина раздражение:

— Вы мало знаете своего государя. Но чего же вы хотите? Стихи Александра возбуждают умы. А тут еще эта революция!

— Не хотите ли вы сказать, Николай Михайлович, что революции возникают от стихов?

— Упаси боже! Я так и внушал государю, что стихи Пушкина не больше чем шалость, брожение молодости... Но что же делать? — В голосе Карамзина звучало настоящее страдание. — Государь не желает меня слушать. Вы переоцениваете мои возможности.

— У Александра много стихов, — размышлял вслух Чаадаев. — Если внушить государю, что истинные стихи Пушкина — те, в коих выражены благие чувства?

— Я ссылался примерно на то же самое, но — увы...

Карамзин не стал излагать Чаадаеву свой разговор с царем, не стал объяснять, что царь сделал выговор ему, Карамзину, за то, что он так рьяно вступает за этого «дерзкого шалопая». Они ведь просто не понимали друг друга: для Карамзина Александр Пушкин — надежда всей русской литературы, а для царя — смутьян, сочинитель оскорбительных стишков. Царь даже дал понять своему обласканному историографу, что удивлен его горячим вмешательством в судьбу бывшего лицеиста.

— Государь неумолим. — Карамзин с тоской подумал о том, что заступничество литератора, пусть даже и приближенного к самому царю, мало чего стоит; а ведь он не часто обременяет государя просьбами и первый раз — бог тому свидетель — вступился так искренно за попавшего в беду собрата. — Вот если бы еще кто-нибудь поговорил с государем...

— Кто же, Николай Михайлович? Кто другой из имеющих вес при дворе станет так, как вы, защищать Александра? Ведь он же ваш друг?

— Да, да, вы правы, — натянуто улыбнулся Карамзин. — Только он предпочитает действовать мимо меня, когда отдает другим свои стихи... Да, я имею вес при дворе, только там мало кто прислушивается к моему голосу.

Что-то новое прозвучало для Чаадаева в этой жалобе. Он не ожидал услышать в словах Карамзина столько горечи.

— Может быть, мне пойти к царю? — в раздумье взглянул он на Карамзина.

— Нет, вы ничего не добьетесь. Вот если бы вам убедить Иллариона Васильевича...



Выслушав речь своего адъютанта, генерал изрек:

— Вы хлопчете о Пушкине так, будто он ваш родственник.

— Он мне больше чем родственник, Илларион Васильевич.

— Вот оно что... — Васильчиков с любопытством разглядывал адъютанта. — Хорош родственничек.

— Поверьте, он честный и благородный человек.

— Чем мы это докажем? — неожиданно спросил Васильчиков. — Вот я поддамся вашим уговорам, ибо не верю в то, что десяток стихов могут произвести смуту в нашем государстве. Хорошо. Допустим, я соглашусь и потревожу государя. Чем я подтверждаю благородные чувства Пушкина, как вы говорите? А? У него имеются такие стихи, что смогут убедить государя?

— Я напишу его стихи, которые дали пищу для разных толков.

— Хорошо. Пишите. Я прочту.

Когда Чаадаев подал ему стихи Александра под названием «Деревня», Васильчиков внимательно прочитал их и промышчал:

— Мм-да... Вот объясните-ка мне, ротмистр, что это за мысли и как их изволите толковать государю?

Он ткнул пальцем в строчки: «Здесь барство дикое, без чувства, без закона, присвоило себе насильственной лозой и труд, и собственность, и время земледельца».

— Это единственно противу злоупотреблений, — как на докладе, четко объяснил Чаадаев. — Вашему превосходительству известно, что еще Екатерина Вторая издавала указы противу подобных злоупотреблений. У апостола Павла об этом сказано: «Князи бо не суть боязнь добрым делом, но злым. Хощеши ли не бояться власти, благое твори и иметь будеши похвалу от него».

— Так ли? — с сомнением поглядел на Чаадаева Васильчиков.

— У апостола Павла дальше сказано: «Божий бо слуга есть тебе во благое».

Одно лишь утаил Чаадаев под пытливым взглядом генерала, а именно то, что изречение это использовалось в качестве аргумента и во вступительной части «Законоположения» Союза Благоденствия.

Но генерал как будто остался удовлетворен.

Он пошевелил губами, читая стихотворение дальше, и указал еще на две строки: «Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный! И рабство, падшее по манию царя...»

— Сие как объяснить? Тоже от апостола Павла? — И усмешка промелькнула в его глазах.

— Нет, ваше превосходительство, здесь ясно сказано: «рабство, падшее по манию царя». Государь может видеть, что Александр Пушкин выражает единственную надежду на монаршую волю.

— Завтра я буду у государя. Попробую убедить. — И, уже отпустив Чаадаева, Васильчиков, словно вспомнил самое главное, кинул вдогонку: — У Пушкина-то небось душа в пятки ушла? А?



Александр сидел в белой рубахе на диване и рассказывал:

— Приходил какой-то человек, предлагал моему дядьке пятьдесят рублей: хотел получить стихи. Да дядька молодец — не дал. Вчера ночью я их и сжег; от греха подальше. Кто бы его мог подослать?

— Аракчеев, Милорадович, — меланхолично перечислил Чаадаев.

— Милорадович тут чист, — неожиданно вступился за генерал-губернатора Александр. — Меня потребовали к нему. Я встретил Глинку. Тот сказал: Милорадович не поэт, но рыцарь, на него можно положиться.

— Вы послушались?

— Мне теперь все едино. Но Глинка прав. Милорадович не топал на меня ногами и не ругал стихов.

— А он их читал? — не мог удержаться от улыбки Чаадаев.

— Нет, но я ему переписал. Он попросил моих стихов — я сказал, что все стихи ношу в голове и напишу все, сочиненное мною. Он обещал свезти их государю и похлопотать. Мы разговаривали как два джентльмена. Милорадович мне понравился.

— А мне вообще не нравится, когда эти «рыцари» суют нос в литературу.

— Что поделаешь, — развел руками Александр, — им тоже надо просвещаться.

Он сидел, то приваливаясь спиной к ковру, то нагибаясь вперед. Под распахнутой рубашкой проглядывала смуглая,

крепкая грудь. Курчавые волосы и бакенбарды — предмет особых забот Александра — пушились.

Пушкин улыбался, сверкая своими ровными, белыми зубами.

Чаадаеву даже показалось, что ему нравится вся эта пердряга с его стихами.



— Ваш Пушкин, — Васильчиков весело глядел на Чаадаева, — оказывается, важная птица. Помилуйте, пол-Петербурга за него хлопочет! Даже сам Милорадович! Никогда бы не подумал.

— Что же хлопоты, ваше превосходительство?

— Все было бы хорошо, — насутился вдруг Васильчиков. — Я прочитал стихи государю, особливо нажимая на последние строки. Государь остался доволен. Он даже изволил поблагодарить Пушкина за благородные чувства. Однако вмешался Милорадович и все испортил.

Васильчиков замолчал, но видно было, что он и сейчас не может спокойно вспоминать об этом казусе.

Для Васильчикова важен был не сам по себе Пушкин, а то, что поэт давал возможность ему, Васильчикову, лишний раз обнаружить перед другими свое влияние на царя. Тем паче, что второй заинтересованной стороной выступал Аракчеев.

Царь явно колебался. Но Милорадович сдуру заявил, что уже сам простил Пушкина от имени царя. «Не рано ли?» — нахмурился царь и распорядился по-своему.

— Что же решил государь?

— Отправить Пушкина на юг под начальство генерала Инзова.

— Без выключки из службы?

— Да, тем же чином.

— Это бесповоротно?

— Голубчик мой, не так уж это и плохо. Аракчеев добивался Сибири. Так что пусть Пушкин благодарит своего царя и... Милорадовича. А вам, Петр Яковлевич, — генерал взял Чаадаева под руку и прошелся с ним по кабинету, — я по-дружески, не как начальник, а как старший товарищ,

советую: держитесь подалеже от всех этих литераторов. Одна смута от них. Вы же — на виду. И не век вам у меня в адъютантах служить. Государь не столь давно интересовался молодыми, достойными офицерами.

Васильчиков значительно посмотрел на Чаадаева.



Перед отъездом Пушкин пришел проститься.

Как обычно, он выбрал для визита поздний час, когда Чаадаев был дома один и ничто не могло помешать их беседе.

Все было, как прежде: уютный кабинет с рядами книг в шкафах, портрет Байрона на стене, свечи в шандалах.

Но привычная обстановка лишь обостряла чувство горячи перед разлукой.

«Неужели надолго прервутся эти встречи по вечерам, — думал Чаадаев, — споры о политике, театре, прочитанных книгах?»

Кто еще из его друзей способен был так умно и тонко судить о сочинениях литераторов Запада и России и вызывать Чаадаева на откровенное признание в том, что касалось самых дорогих для него размышлений — о философии, истории, искусстве?

Вот и сейчас, словно не предстояла им разлука и впереди у них было много вечеров, чтобы вдоволь обо всем наговориться, Пушкин завел речь о новой книге Гизо, которую брал у Чаадаева незадолго до царского приговора.

Чаадаев, по своему обыкновению, делал на ее полях заметки. А Пушкин, как это уже не раз бывало, не смог пройти спокойно мимо них.

В особенности его задела одна, в которой Чаадаев написал:

«В умственном мире Запада нет ни Франции, ни Германии, ни Англии, ни Италии — есть Европа, вот и все».

— Что означает — в умственном мире? — стал оспаривать это утверждение Пушкин. — Англичанина не примешь за немца, а француза не спутаешь с итальянцем.

— Справедливо, — кивнул Чаадаев. — Однако их род-

нит общий уровень мысли. Идеи Монтескье проникли за пределы Франции. Сочинения Бэкона близки не одним англичанам.

— Следственно, — подхватил Пушкин, — Россия также должна почесться страной европейской?

— Умственный мир Запада нам чужд.

Это был главный выход, к которому приходил Чаадаев, размышляя над судьбами своей страны и Европы.

— Нам? — не сдавал своих позиций Пушкин. — Кого вы разумеете, Петр Яковлевич? Милорадовича, Васильчикова или ваших друзей? Им тоже дороги идеи Монтескье.

— Не о наших друзьях речь.

— Почему же? — запальчиво воскликнул Пушкин. — Пример Испании одушевил многих.

Он пристально посмотрел на Чаадаева, и тот понял, что Пушкин опять думает о тех, кто не ограничивается разговорами, а помышляет о действиях.

— Вы уезжаете из Петербурга, — ровным голосом заговорил Чаадаев, — может быть, надолго...

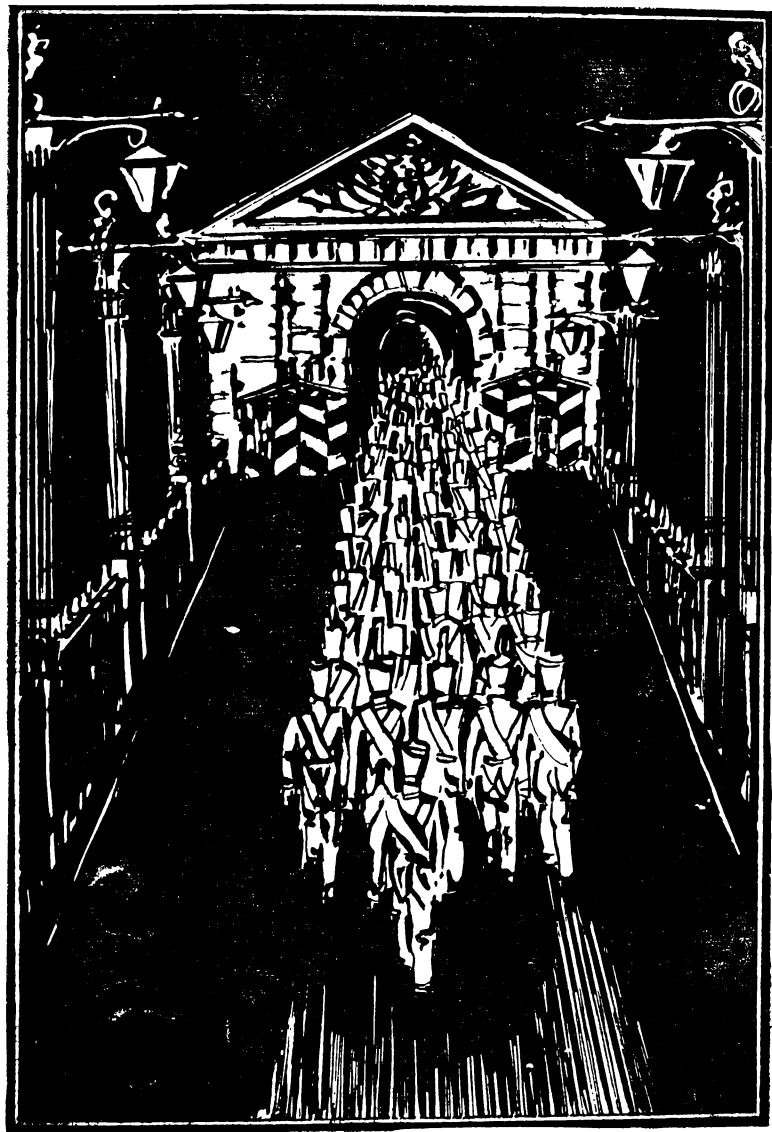
— Разве на юге нет людей, которым сродни наш образ мыслей?

— Не знаю, Александр, не знаю... — принужденно ответил Чаадаев.

— Ну, почему вы не хотите сказать?! — с отчаянием вырвалось у Пушкина. — Даже вы, Петр Яковлевич! Для меня это досадней всего. Я понимаю, за мной отныне будут следить в четыре глаза. Но ведь и я чему-то научился! А на юге я найду друзей, не сомневайтесь!

— В этом я не сомневаюсь. Только не забывайте старых, которые вас любят и которым вы очень дороги, Александр...





*Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарской.*

А. С. Пушкин



аадаев нес утром дежурство и был в кабинете Васильчикова, когда вошел начальник штаба генерал Бенкендорф и доложил:

— Бунт, ваше превосходительство... В Семеновском полку бунт.

— Что вы городите, голубчик? — грубовато вскинулся на него Васильчиков. — Какой бунт? Говорите толком.

— Гренадерская рота не слушается приказов. Солдаты сидят в казармах, ружей не разбирают, никуда не идут.

— Что за ерунда! А Шварц? Почему об этом докладываете мне вы, а не командир полка?

— Полковник Шварц не в состоянии.

— Что значит не в состоянии? — Васильчиков начал выходить из себя. — И кто взбунтовался — полковник Шварц или его солдаты? Да ведь если об этом узнает государь...

Генерал не окончил фразы. Ему тут же стало ясно: если сейчас же не пресечь неповиновения роты, то от царя ничего не скроешь, пусть его и нет в Петербурге.

Семеновский полк не простой полк к тому же, а любимый, императорский. Сам Александр Павлович носит мундир этого полка и знает по имени не только всех офицеров, но и многих солдат.

— Отчего неповиновение? — перешел на деловой тон Васильчиков.

— Солдаты не желают иметь командиром Шварца.

— Кто их спрашивает?! — Васильчикова опять словно

ударили. — Я же говорил ему, дураку: не усердствуй! Как в воду глядел. Теперь расхлебывай.

Васильчиков недолюбливал нового командира Семеновского полка. Но Шварцу протезировал Аракчеев, и этот немец не так давно получил под свою команду первый полк империи.

Чаадаев не забыл те времена, когда сам служил в Семеновском полку. С ним он прошел всю войну. Тогда да и сразу вскоре после войны в полку царили добрые нравы. Солдаты в казарме спали на кроватях, имели самовары и некоторые другие вещи, которые скрашивали им многолетнюю казарменную тоску...

Шварцу все это показалось блажью. Кровати он заменил нарами (как было при Павле), самовары выкинул, за малейшую погрешность во фрунте наказывал жестоко.

Неподалеку от расположения полка была общая могила солдат и рекрутов, засеченных по приказу командира.

Солдаты прозвали ее «шварцовой».

Уму было непостижимо, как все это выносил русский солдат!

Однажды Грибоедов поделился с Чаадаевым планом пьесы: «Я больше не могу писать комедии и водевили, я напишу трагедию. О солдате, который спас Россию: у него новые понятия о достоинстве, о чести — после двенадцатого года. Но, отслужив, он попадает обратно к своему помещику. Опять барщина, издевательства...» — «Каков же исход?» — спросил тогда Чаадаев. «Исход один, — по голосу Грибоедова было не понять: то ли он говорит однозначно, то ли прячет в свои слова еще что-то, — головой в петлю...»

Но своей трагедии Грибоедов пока не написал. Трагедия продолжалась в жизни.



Командир бригады великий князь Михаил, Бенкендорф и несколько офицеров, среди которых был и Чаадаев, поскакали в полк.

Навстречу им выбежали батальонный командир Вадковский и командир взбунтовавшейся роты Кошкарев.

Бенкендорф с великим князем выслушали офицеров, и князь, отведя от них тяжелые глаза, приказал Чаадаеву:

— Ротмистр, приведите роту на плац.

Дойдя до дверей казармы, Чаадаев столкнулся у порога с Мишелем Бестужевым-Рюминым.

Лицо Мишеля, всегда такое милое и несколько восторженное, поразило Чаадаева своей строгостью.

Это выражение сказало о случившемся гораздо больше, чем сбивчивые речи Вадковского и Кошкарева.

Подпрапорщику Бестужеву-Рюмину исполнилось семнадцать лет. Он был очень привязан к Чаадаеву и частенько брал у него книги.

Мишель открыл дверь, пропуская Чаадаева вперед.

— Что же теперь будет? — торопливо спрашивал Мишель, пока они шли по коридору. — Своих офицеров они не желают слушать.

— Вы с ними говорили?

— А как же, Петр Яковлевич! Я думал, солдаты мне верят...

— Вы тут ни при чем.

— Я подавал рапорт полковому.

— Рапорт? — Чаадаев остановился. — О чем?

— Я написал, что нельзя так муштровать солдат, что они терпят из последних...

— Вы это писали Шварцу?

— Да.

— Что же Шварц?

— Сделал мне выговор.

Мишель еле сдерживал слезы.

«Этот офицер переживает горе солдат, как свое собственное. А я? — задал себе вопрос Чаадаев. — Я ведь не хуже его знал обо всем, что творится в полку. Но я не подавал рапортов и даже не обсуживал это с Васильчиковым. А ведь я, вероятно, сделал бы больше, нежели этот юноша. Теперь же дело зашло слишком далеко. Если солдаты не повинятся, им уже не помочь...»

Огромное помещение ротной казармы встретило их тишиной. Солдаты сидели на нарах, кто в мундире, кто в рубахе, и, не выражая никакой враждебности, молча смотрели на офицеров.

Чаадаев громко поздоровался — ему вразнобой ответило несколько голосов.

Лишь с этого момента он ощутил, что перед ним действительно не обычная, послушная, скованная дисциплиной масса, а что-то иное.

Он прошел на середину казармы и все тем же громким голосом сказал, что командир бригады и начальник штаба корпуса требуют сию минуту роту на плац.

Солдаты заговорили между собой, и казарма ожила.

— Для чего зовут роту? — крикнули Чаадаеву.

— Это приказ!

Чаадаев чувствовал, что не может настроиться на верный тон разговора.

По замкнутым лицам ближних солдат он видел: они ему не доверяют.

Это было неожиданно и неприятно. Ничего подобного Чаадаев раньше не испытывал.

В походах и стычках с наполеоновскими войсками он хорошо понимал солдат своего полка, и они его тоже понимали. Солдаты охотно выполняли его приказы и, не задумываясь, делали то, что велел их brave поручик.

«Но тогда и я делал то же, что они, — должен был признать Чаадаев, — большой разницы между нами не было...»

Потом служба пошла иная. Интересы и судьба у них стали различными.

— Ступайте, ваше благородие, — сказал сидящий на нарах неподалеку от него молодой гренадер в накинутах на плечи мундире, — рота соберется.

Чаадаев и Бестужев вышли из казармы.



Великому князю не удалось ни выявить зачинщиков, ни успокоить роту.

Генералы уехали ни с чем.

Тогда Васильчиков решил сам поговорить с ротой и велел привести ее в здание экзерциргауза, которое на всякий случай по его приказу заняли две роты Павловского полка.

Вокруг Васильчикова толпилась целая свита из насто-
роженных, звякающих саблями и шпорами генералов и
офицеров...

В просторное помещение экзерциргауза стягивались се-
меновцы.

Решающая минута настала.

— Вы что же это — вздумали бунтовать?! — выкрик-
нул наконец Васильчиков построившимся и притихшим
солдатам. — Государева рота! Бунтовщики!! Измен-
ники!!!

Солдаты стояли с каменными лицами.

«Эх, не так начал Илларион Васильевич, — с тоской
глядел Чаадаев на солдат, — не так...»

Но Васильчиков уже разошелся.

Когда он устал ругаться, раздался другой голос.

— Мы не бунтовщики, ваше превосходительство, —
сдержанно говорил стоящий в первом ряду гренадер, —
мы царю присягали. За царя умрем! Пускай он прикажет—
мы хоть в огонь, хоть в воду.

— А-а, вы не бунтовщики?! — снова взорвался Василь-
чиков. — Почему же не подчиняетесь командиру?!

— Мы просим сменить командира, — угрюмо сказал
солдат.

И тут посыпалось из всех рядов со страстью, с над-
рывом:

— Не желаем Шварца!

— Мочи больше нет!

— Мы царю не противники!

Васильчиков и вся его свита стояли, как под шквалом
картечи, и долго не могли остановить этот шквал. Но в ка-
кой-то момент взвился пронзительный крик одного из ге-
нералов:

— Молча-а-ать!!!

Когда солдаты на миг смолкли, он пригвоздил их но-
вой командой:

— Сми-ирна-а!

Солдаты, к удивлению Чаадаева, повиновались. Только
все тот же высокий солдат из первого ряда произнес в на-
ступившей тишине:

— Ваше превосходительство, делай с нами, что хочешь,
а под Шварца мы не пойдем.

— Слушай мою команду! — как на параде, зычно, с

длинными паузами между словами прокричал Васильчиков. — Рота, направо! В крепость шагом а-арш!

Солдаты и тут послушались.

Они вышли на площадь у штаба гвардейского корпуса, а оттуда, окруженные ротами павловцев, промаршировали в Петропавловскую крепость.

Шли они, как всегда, стройно, разве без остервенения печатали шаг, да не гремели впереди роты барабаны.

Барабанщиков и флейтистов почему-то отпустили обратно в казарму.

А группа генералов и офицеров на лошадях маячила в отдалении за их спинами до тех пор, пока последняя шеренга государственной роты не скрылась в крепостных воротах.



Чаадаев всю ночь провел в штабе.

Рано утром, когда было еще темно, к Васильчикову прискакал новый гонец: Семеновский полк во всем составе построился на своем плацу и требует вернуть из крепости первую роту или отправить туда же и остальные.

Васильчиков посмотрел на своего адъютанта:

— Вот теперь бунт.

Чаадаев понимал состояние генерала: солдаты выразили свою волю — это было для него так же дико, как если бы вдруг ожил и стал действовать разумно пушечный лафет. Его ум этого не постигал.

Шварц был мучитель. Васильчиков противодействовал его назначению в полк. Но какой бы ни был командир полка, солдаты должны... Ах, черт, да что тут рассуждать? Дух армии держится на подчинении и вере. Без этого — развал, хаос. А дисциплина — это Шенграбен, Бородино, Красное...

На Семеновскую площадь, где стоял полк, Васильчиков прискакал разъяренный.

Теперь-то ему было ясно, что это безобразие непременно станет известно государю. Командир корпуса прекрасно помнил, как болезненно подействовали на Александра беспорядки в военных поселениях. Но поселения — не регуляр-

ный гвардейский полк. Там не поймешь, кем командуют офицеры — солдатами или мужиками. Немудрено, что у Аракчеева ничего путного пока с этими поселениями не получилось. Но тут — лучший полк гвардии!

Голова шла кругом.

Чаадаев осадил лошадь среди столпившихся на площади солдат и снова с некоторым удивлением отметил, что семеновцы, проявившие такую стойкую вражду к полковому командиру, настроены отнюдь не воинственно, а как-то даже сумрачно-обреченно.

Они стояли без ружей и повторяли одно: «Не хотим Шварца, а за царя-батюшку готовы хоть сейчас отдать животы». Да еще прибавляли: «Ведите нас в крепость к первой роте, куда они — туда и мы...»

В этом покорном сопротивлении таилась какая-то неизвестная, но страшная угроза, о которой можно было лишь смутно догадываться и которая вселяла в генералов и офицеров тревогу.

Васильчиков опять кричал, надсаживая грудь, размахивал рукой, грозил, увещевал, но все было напрасно. Солдаты стояли на своем. Их невозможно было поколебать.

«Стоят, как стояли когда-то под огнем, — подумал Чаадаев, — у Бородина...»

Только тогда подпрапорщик Чаадаев находился в их рядах, а сейчас гарцевал на лошади между солдатами и кричавшим на них генералом, и самому Чаадаеву было не совсем ясно, какую роль во всем этом он играет.



Пока Васильчиков кричал на солдат, Семеновские казармы занял лейб-егерский полк, а к площади подошел конно-гвардейский.

Ничего не добившись от семеновцев, командир корпуса вынужден был отправить их вслед за гренадерской ротой в Петропавловскую крепость.

Солдаты шагали нестройными рядами через столицу и на вопросы горожан, куда они идут, бодро отвечали: «В крепость, на работу».

Генерал-губернатор Петербурга и командир корпуса писали донесения царю. Аракчеев готовил расправу над бунтовщиками...

Узнав о том, что будут наказаны офицеры первой роты взбунтовавшегося полка, Чаадаев решил заступиться за Мишеля.

— Ваше превосходительство, — объяснял он Васильчикову, — подпрапорщик Бестужев-Рюмин не успел прослужить и полугода. Он виноват лишь в том, что его определили в эту злосчастную роту.

— Что же я могу сделать? — развел руками Васильчиков.

— Неужели нельзя смягчить его участь?

— Наказания требует военный министр.

— Я вас прошу, Илларион Васильевич, походатайствуйте перед ним.

— Что вы просите, ротмистр? — с неудовольствием поморщился Васильчиков. — Вы знаете, какая сейчас ситуация?

— Я понимаю...

— Ничего вы не понимаете! Вы просите меня пойти к графу, а у графа на столе вот этот документ. Не видели еще? Читайте. Это копия.

Он сунул Чаадаеву листок плотной бумаги.

«Воины! — читал Чаадаев. — Дворяне из Петербурга рассылают войска, дабы тем укротить справедливый гнев воинов и избежать общего мщенья за их великие злодеяния. Но я советую, призвав бога в помощь, учинить следующее:

1) Единодушно арестовать всех начальников, дабы тем прекратить вредную их власть;

2) Между собой выбрать по регулу надлежащий комплект начальников из своего брата солдата и поклясться умереть за спасение оных, если то нужно будет, а не выдавать своих;

3) Вновь избранные начальники должны разослать приказы прочим полкам, чтоб поступали так же, а командированные, посланные полки возвратить в Петербург. Когда старые начальники по всем полкам будут сменены и новые учреждены, то Россия останется по сему случаю без пролития крови. Если сего не учините и станете медлить в сем

случае, то вам и всему отечеству не миновать ужасной революции!

Спешите последовать сему плану, а я к вам явлюсь по зачатию сих действий.

Во славу бога отдаю себя вашему покровительству.

Любитель отечества и сострадатель несчастных

Единоземец».

— Тут пахнет новым бунтом, посерьезнее. А вы просите ходатайствовать перед графом. Ему сейчас лучше не напоминать о семеновцах.

Генерал забрал у Чаадаева листок.

— А к вам у меня особое дело... Мы потеряли время, но надо было кое в чем разобраться. — Васильчиков сделал паузу. — Я посылаю вас с донесением к царю.

Он не стал объяснять Чаадаеву, почему для этой миссии выбрал его, а не Лачинова, Раевского или четвертого своего адъютанта, Протасова. Генерал был уверен, что Чаадаев лучше выполнит эту роль: он сам служил в Семеновском полку, мог ответить на любые непредвиденные вопросы да и всем своим безукоризненным обликом должен был успокаивающе подействовать на разгневанного собеседника.



За то время, что дали Чаадаеву на сборы, он успел повидать лишь Николая Тургенева.

Припадая на одну ногу (при волнении хромота его становилась заметней), он пересекал свой кабинет, подходил к окну, смотрел несколько секунд на хмурое небо, резко поворачивался и вновь оказывался перед Чаадаевым — бледный, с горящими глазами на нервном лице.

— Это судьба, — он начинал и не заканчивал фразы, — ты подумай: мы ломаем голову, как найти лучший способ убедить царя... Он должен внять разуму... Я рад, что выбор пал на тебя. Ты найдешь верный тон. Горячих голов много, но тут нужны твои выдержка и ум.

Чаадаев нахмурился.

Николай и раньше преувеличивал его достоинства. По-

жалуй, на ту роль, что досталась ему, Чаадаеву, лучше годился сам Тургенев. Он-то умел склонять на свою сторону несогласных! Чаадаев знал это еще с поры их далекой юношеской дружбы.

— Я не получил еще инструкций от Васильчикова, — сказал он.

— Они тебя не свяжут. — Тургенев замолчал, потом голос его зазвенел. — Ах, как мне хотелось бы поехать вместе с тобой! — В черном сюртуке он был изящен и строг. Его античный профиль мелькнул на фоне окна, и снова горящие глаза приблизились к Чаадаеву: — Говори, как подскажет сердце... Но царь не должен знать, что ты связан с Союзом...

— Ему что-то известно?

— Царю передали Зеленую книгу... Мне говорил Якушкин.

— Что же царь?

Чаадаев впервые слышал об этом.

— Не придал сему значения, к счастью для всех нас. Или сделал вид.

Чаадаев поднялся, звякнув саблей и шпорами.

— Мне пора.

Он обнял Тургенева, а тот, вдруг смягчившись, улыбнулся:

— Полагалось бы благословить тебя крестным знаменем...

Они трижды крепко поцеловались.



Дождь преследовал его до самой границы. Лошади с трудом тащили по грязи кибитку. Чаадаев временами вылезал и шагал по обочине, где было посуше.

Окрестный вид нагонял тоску.

Чаадаев кутался в плащ и хмуро поглядывал на голые, без листвы леса, бурую землю, мокрые избы.

«Как здесь живут люди? — невесело думал он. — Из года в год, из века в век...».

Дважды ему приходилось мерять эту дорогу — летом и зимой, в 1812 и 1813 годах. Теперь он ехал по ней в третий

раз — осенью. Вспоминались знакомые места, но мало что в них говорило о тех великих отступлениях и наступлениях.

Казалось, и не было сражений, разбитых пушек и брошенных повозок, суровых и радостных лиц солдат. А было то, что так верно обозначил Пушкин в своих стихах: «Здесь рабство тощее влачится по браздам неумолимого владельца. Здесь тягостный ярем до гроба все влекут, надежд и склонностей в душе питать не смея...»

Завидев офицера, крестьяне снимали шапки, но не выражали никакого интереса к проезжающему. У них была своя, закрытая от Чаадаева жизнь в этих серых деревеньках.

Не радовали и остановки на станциях. Там тоже была грязь, ругань из-за пустяков, обиды дворян, которые неприязненно косились на столичного фельдъегеря: ему без всякой очереди давали лошадей.

Чтобы не страдать от клопов и тараканов, Чаадаев спал прямо в кибитке. Да так было и быстрее. Он не скупился в расчетах с ямщиками, и те гнали сквозь дни и ночи, дожди и туман и удивлялись лишь тому, что этот курьер совсем не усердствует кулаком.

«Неужели во всем этом кроется мощь и величие России? — думал Чаадаев, глядя на прибитые дождем деревеньки. — В этой нищете, приниженности?»

Но ведь была же эта мощь, существовала!

Нищета, к прискорбию, тоже...

Может быть, первый раз за всю свою жизнь Чаадаев смотрел на нее так пристально и долго.



За Витебском Чаадаев неожиданно встретил Якушкина. Тот ехал из своего имения на юг.

Якушкин отозвался о поездке Чаадаева без одобрения.

— Тебя ждет флигель-адъютантство.

Упрек был явный, но Чаадаев знал, как возразить:

— Став близко к царю, я принесу больше пользы.

— Ты еще веришь в благие намерения царя?

— Не только я.

— Мы всё мечтаем, — едва ли не презрительно отклик-

нулся на это Якушкин. — А я жалею, что мы упустили такой случай. Семеновцы оказались без головы. Вот в чем суть! Не могу себе простить, что ничего не знал о настроениях в полку.

— Не вини себя. Мы и то не догадывались.

— Это и плохо! Ты читал подметное письмо? Призадумайся. Если на нашей стороне будут солдаты...

— Жалеешь, что вышел в отставку?

— Признаться, теперь жалею.

Глядя на него, Чаадаев подумал, что, несмотря на свой штатский сюртук, Якушкин в душе остается военным.

— Ты чего задумался? — дружески подтолкнул его Якушкин.

Они сидели в отдельной комнате, за столом, на котором попыхивал самовар.

— А ты куда из деревни бежишь? — в тон Якушкину спросил Чаадаев.

— Куда? — Глаза Якушкина переменили выражение. — В Тульчин...

— В Тульчин? — Это удивило Чаадаева. — Там что-нибудь замышляют?

— В Тульчине интересные люди... — Кажется, Иван уклонился от прямого ответа.

— Да, есть... Ты кого-нибудь знаешь?

— Я везу к ним письмо, познакомлюсь. С Юшневским, с Пестелем...

— Мне говорил Николай Тургенев, что Пестель ратует за республику.

— А ты что скажешь об этом?

— Республику не сорвешь, как яблоко с дерева. А кто же из нас жаждет войны да смуты? Для меня и для тех, кто сейчас в Петербурге, многое значит разговор с царем.

— Не вернее ли пистолеты? — усмехнулся Якушкин.

Они расстались на мокрой Смоленской дороге. Якушкин повернул на юг, к Киеву. Чаадаев поскакал дальше на запад, через Брест и Краков, в маленький пограничный городок Троппау. Там заседал во главе с русским царем конгресс Священного Союза.



Он прибыл в Троппау вечером, когда сумерки тихо завладели городом. На улицах вспыхивали фонари. Фонарщики ходили от столба к столбу со своими лестницами. Прохожие почти не попадались. «Какая роскошь!» — насмешливо подумал Чаадаев, вспомнив некоторые улицы Петербурга, которые испокон веку не знали освещения. Он еще было подумал, что такая иллюминация устроена в честь высоких особ, гостивших здесь, но столбы были чугунные и стояли на улицах, должно быть, издавна.

Ближе к центру стали встречаться военные, чаще всего австрийцы, и на Чаадаева слегка повеяло той атмосферой, которой жил этот городок. Однако он совсем не задерживался на мыслях о том, что сюда съехались монархи и министры кроить и перекраивать судьбу всей Европы. Его занимала Россия.

Управляющий походной канцелярией русского императора князь Меншиков выслушал краткое донесение Чаадаева и, к его удивлению, сухо отчеканил:

— О бунте нам известно. Но государь ждет подробного доклада. — Затем, после недолгой паузы, изменив тон, заинтересовался: — Вы задержались в дороге?

Вопрос был задан обыкновенным, даже несколько безразличным голосом, но Чаадаев почувствовал в нем скрытое недовольство и недоверие к нему, фельдъегерю.

— Нет, ваше сиятельство, — ответил он просто, без всякого стеснения встретив подозрительный взгляд князя.

— Когда выехали вы из Петербурга?

— Двадцать второго.

— Почему же так поздно? — опять вскинул на него свои глаза Меншиков.

— Командир корпуса сначала покончил с беспорядками...

— А на это ушло время, — перебил раздраженно Меншиков. — Генерал Васильчиков прежде полагает свою выгоду. Ему хочется доложить, что все покончено. А его величество государь-император узнает о делах в своем государстве от князя Меттерниха!

«Вот оно что, — подумал Чаадаев. — Значит, австрийцы нас опередили. Это плохо. Царь теперь задаст и Васильчикову, и Милорадовичу. Надо же было им догадаться, что из австрийского посольства тоже пошлют гонца».

— Вы тотчас же отправитесь к государю, — распорядился Меншиков.

— Я должен переодеться, ваше сиятельство.

— Да, да — согласился Меншиков, — вы приехали в карете?

— В кибитке.

— Все равно. Вас мало кто видел. Вы переоденетесь в штатское.

Чаадаев не выразил удивления и постарался скрыть улыбку:

— Я не захватил.

— Ну, разумеется, — улыбнулся Меншиков, — я позаботился об этом. Государь желает видеть гонца из России в штатском. Не угодно ли вам пройти в соседнюю комнату?

Да, здесь, в Троппау, жили по своим, особым законам. Вникать в них у Чаадаева не было ни времени, ни желания.

Он облачился во фрак и панталоны, сшитые не по нем, и почувствовал себя так, словно его вытолкнули в шутовском наряде разыгрывать непонятную и ненужную ему пьесу.

В зеркале смотрел на него усталый человек с торчащими из манжет руками. Шею подпирало жабо. Чаадаеву оно показалось отвратительным. Вместо жесткого, высокого воротника, который даже раскормленным генералам выправлял подбородки, — какое-то взбитое, словно сливки, кружево. А может быть, и не сливки, а белая борода? Но при чем тут борода, когда лицо строго и молодо?

«Странно, — подумал Чаадаев, — на других этот наряд всегда казался мне красивым».

Он еще раз критически оглядел себя с ног до головы и вышел к Меншикову:

— Я готов.



Чаадаев поразился изжелта-бледному, болезненному цвету лица Александра. То ли потому, что Чаадаев никогда не видел его в подобной обстановке, всего при нескольких све-

чах, то ли потому, что царь на самом деле осунулся и постарел, — он выглядел совсем не тем человеком, к которому привык Чаадаев на приемах в петербургских дворцах и на парадах.

Вспомнилось еще, как стоял в карауле у царской комнаты в Париже, с каким волнением ожидал появления Александра — сияющего, великодушного, победителя Бонапарта, кумира всей Европы. Чаадаев был тогда юнцом, а император Александр тоже, наверное, был другим, не только молодым и красивым...

Пока он слушал доклад о событиях в Петербурге, взгляд его был тускл.

Чаадаев избегал какой-либо оценки, излагал лишь факты. Говорил он по-русски. Так повелел царь.

Выслушав все до конца, не перебивая, Александр глухо поблагодарил и надолго ушел в себя.

Чаадаев стоял, ждал, и почему-то в голову приходила мысль о том, что, будь он в своей привычной, гусарской форме, слова его прозвучали бы по-другому, убедительней и тверже. А сейчас царь как будто чем-то неудовлетворен, как будто не получил от гонца всего, что ожидал.

По выражению лица Александра Чаадаев не мог сказать, какие чувства вызвал в царе его доклад. Лицо это, правда, не выражало замкнутости, но оно было каким-то пустым. Когда Чаадаев осознал это, ему стало не по себе.

— Что ты думаешь об этой истории? — прервал наконец молчание царь.

— Я скорблю, ваше величество. — Чаадаев не знал еще, радоваться или нет тому, что царь, кажется, сам вызывал на откровенность. — Мы все, офицеры вашего величества, скорбим: полк, который прославил Россию на полях сражений, выказал неподчинение.

— Ты ведь тоже был семеновцем?

— Был, ваше величество.

«Помнит, значит, — подумал Чаадаев, — не зря мне говорили, что Александр ничего не забывает».

— Рад, что вышел из полка? — Чаадаев так и не понял, что имел в виду царь — не то ли, что семеновским офицерам, возможно, придется отвечать за действия солдат? А царь уже оставил эту мысль. — Отчего бунтовал полк?

— Ваше величество, — волнуясь, заговорил Чаадаев, — причина тому крайность, до которой довели солдат.

— Ты так думаешь? — Пламя свечей, стоявших перед царем на столе, заколебалось.

— Жестокости полковника Шварца...

— Жестокости? — поднял брови царь.

— Он забивал солдат насмерть, ни для кого не секрет. Поверьте, ваше величество, солдаты разумеют и ласку. С ними же поступали, как с рабами.

— А как, по-твоему, с ними следует поступать?

— Как с людьми, ваше величество! — Чаадаев увидел оживившиеся глаза императора. — Если все оставить по-старому, то солдаты опять могут взбунтоваться.

Император уже с нескрываемым интересом смотрел на своего собеседника:

«Любопытный способ избрал этот ротмистр для того, чтобы делать карьеру».

Александр пожалел, что распорядился привести его в штатском. Хотелось бы взглянуть на него в гусарской форме.

Ничего военного в стоявшем перед царем человеке не было. Казалось, он всегда носил фрак. Хотя тот и был мешковат на нем. Но Александр очень хорошо знал этих штатских, несколько мешковатых молодых людей, которые пренебрегают службой да рассуждают обо всем вкрявь и вкось.

У этого гусара к тому же слишком умные глаза. И смелость... Откуда у него столько смелости, чтобы так говорить с царем?

— Русский солдат, слава богу, предан своему царю и православной вере, — произнес император.

— История в Семеновском полку... — начал было Чаадаев.

— История в Семеновском полку, — повысил голос царь, — больше не повторяется.

— А если повторится?

— Если повторится, — медленно проговорил Александр, — то с бунтовщиками мы и впредь будем поступать, как с бунтовщиками.

— Но, ваше величество, может взбунтоваться народ!

— Народ? — переспросил император. — Ты набрался вздорных мнений.

— Поверьте, ваше величество, народ тоже терпит из последних.

— Ты разумеешь крестьян?

— Да, ваше величество. Они не могут оставаться собственностью помещиков.

— А чьей же собственностью, по-твоему, им оставаться? — с насмешкой спросил император.

— Они должны быть свободны, — дрогнувшим голосом ответил Чаадаев, не ожидавший этой откровенной насмешки.

— Ты устал с дороги. — Александр поднялся из-за стола. — Ступай, голубчик, отдохни.

«Надо разобраться, что из себя представляет этот ротмистр Чаадаев, — подумал царь. — Васильчиков прочит его во флигель-адъютанты. Хорош будет флигель-адъютант!»

А Чаадаев покидал царский особняк в состоянии, которое, наверное, больше всего напоминало состояние полководца, проигравшего главное сражение в своей жизни.



Он медленно возвращался в дом походной канцелярии, где отвели ему ночлег.

Улицы были пусты. Еще во время военных походов Чаадаев заметил, что Европа ложится спать рано. Он шел совершенно один. Каблуки громко стучали по каменной брусчатке. Справа и слева за кустами и деревьями чернели островерхие силуэты домов. Возникало такое чувство, словно ты остался один на опустевшей земле.

Отчаяние охватило Чаадаева. Он действительно оказался одинок в этом городе. Не к кому было пойти, не с кем посоветоваться. Только сейчас в полной мере он осознал тяжесть взятой на себя ноши.

Вспоминались напутственные слова Николая Тургенева и его ободряющая улыбка... Но рядом с ней воскресала в памяти презрительная усмешка Якушкина и его слова: «Не вернее ли пистолеты?»

«А мне ведь и самому приходило на ум такое, — должен был признаться Чаадаев. — Тогда, во время бунта...

и после него, когда безоружных солдат вели в крепость... Да и не мне одному».

Но ведь с одним полком, стал дальше размышлять Чаадаев, немногого и добьешься. Особенно в такой стране, как Россия. Надо поднимать несколько полков. Может быть, армию... Пошли же войска за Риего.

«Не поспешил ли я в разговоре с царем? — Чаадаев припоминал каждое сказанное им царю слово. — Имелись ли другие аргументы? Но какой силой мы обладаем? Силой мысли, мнения? Кто из царей робел перед этой силой?»

Нет, нельзя было ему ехать в Троппау! Не его это задача — уговаривать монархов.

«Я все высказал слишком прямо, — упрекал себя Чаадаев. — А так нынче не годится. Тоньше надо. Вот Тургенев или Грибоедов — те наверняка больше бы успели...»

Но тут вспомнилось, как прозвучало у царя слово «бунтовщики»: примерно так же, как у Васильчикова и Бенкендорфа.

Чаадаев подумал о том, что убеждать царя дальше, кажется бесполезно.



Утром, однако, он стал колебаться: не следует ли начать новый разговор с царем?

Эти размышления прервал князь Меншиков. Он передал повеленье царя — без проволочек отправляться в обратный путь.

Вечером Чаадаев уже подъезжал к Кракову...

А потом опять потянулись русские дороги.

Теперь Чаадаев не торопил ямщиков, хотя ехать можно было быстро — первый мороз сковал землю, и колеса не вязли.

Он сидел в кибитке, прислушивался к песням ямщиков, и на память ему приходили строчки из радищевского «Путешествия»: «Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягко-го... Посмотри на русского человека, найдешь его задумчива...»

Да, задумчив от века русский народ. Но что-то задумчив он не в меру. Если же и захочет разогнать свою печаль, то идет в кабак. Писал и об этом Радищев: «Бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обгащенный кровью от оплеух, многое может решить досель гадательное в истории российской».

Но этот бурлак — как заметил Радищев — мог скоро «начать спор или битву», если что-то случалось не по нем. А это тоже помогало понять многие эпизоды в русской истории.

Чаадаев подолгу задерживался на почтовых станциях, постоянных дворах, всматривался, вслушивался и думал о том, что рано или поздно каждому русскому надо совершить свое «путешествие из Петербурга в Москву».

После Витебска он повернул на Смоленск, решив заехать в Москву.

Смоленск так же, как и Москва, был отстроен и сверкал краской, железом крыш, сиял свежим деревом. Лишь крепость напоминала о минувшей войне. Часть ее была взорвана отступавшими войсками Наполеона. Но целые башни и стены все так же грозно и величаво вздымались по холмам, сбегали к Днепру.

Башни, как дула гигантских орудий, были нацелены в небо.

Бело-голубой куб собора с позолоченной кровлей парил в воздухе.

Чаадаев оставил кибитку внизу, у Днепра, и пешком отправился к собору — сначала по крутой улице, потом по ступеням, проложенным по склонам холма. Шла вечерняя служба. Чаадаев остановился при входе, слушая и не слушая то, что происходило в соборе.

Собственные мысли не давали ему забыться: «Что я теперь могу сделать? Состоять адъютантом у Васильчикова или даже флигель-адъютантом при царе — это разделять вместе с ними ответственность за все то, что происходит в русской армии. Но зачем? Зачем служить лицам, которые держатся за таких, как Шварц и Аракчеев?»

Впервые возникла мысль об отставке. Возможно, это был выход. Хотя тогда — прощай надежда на все, что связано с карьерой.

«Слишком мало я могу сделать на военной службе, —

с горечью размышлял он, — какая от меня польза? Мы все, служащие, тешим лишь свое тщеславие, красуемся на балах, парадах и в манежах».

Чаадаев вспомнил прочитанную еще до семеновского бунта книгу Паскаля. Там была поразившая его мысль о том, что человечество, как и природа, по сути своей не сменяющие друг друга и уходящие в ничто единички, а один человек, пребывающий вечно. Смена поколений — это форма его существования и передачи сознания по цепочке в будущие века. Каждый из нас — участник этой работы, не прекращающейся вечно. Опыт каждого вбирается поколениями, идущими на смену.

«Если это так, — думал Чаадаев, — то и мой малый опыт должен пригодиться в будущем людям. Я же ограничиваю себя, занимаясь малополезной работой. Самое горькое — ощущать свою бесполезность для общества, когда твои дела и мысли не задевают других, просачиваются, как вода сквозь песок, и исчезают без следа...»



В Москве он поделился своими соображениями с братом. — Ты с ума сошел! — что-то очень уж испугался Михаил. — Что ты на этом выиграешь?

— Ничего не выиграю, — пожал плечами Чаадаев, — скорее потеряю.

— Потеряешь то, чего никогда не вернешь. Ни чина, ни благорасположения высоких особ.

— Дорого ли это стоит?

— На этом все держится. Сам по себе много ли ты достигнешь?

— Так грош мне цена!

— Не горячись. Я знаю, Васильчиков тебя ценит.

— Это и я знаю. Да мне-то его самодовольная физиономия опротивела.

— Ну, разве это резон, Петр?

— Не резон. Но мне доставит удовольствие увидеть его мину, когда я попрошу отставку.

— Но это же несерьезно.

— В любой шутке есть свой смысл. А серьезно — я хочу независимости.

— Но ты потеряешь жалованье, — придумал еще один довод брат.

— Пустяки.

— Я-то знаю наши с тобой доходы. На что ты станешь жить?

— Буду экономить.

— Ты? — У Михаила от удивления смешно округлились глаза.

— Я, — невозмутимо принял его взгляд Чаадаев. — Уж если я не умею убеждать царей, поучусь расчетливо жить.

Брат не нашел, что ответить, а лишь смотрел на Чаадаева и качал головой. Затем, понизив голос, сообщил:

— У тетушки в имении был обыск.

— Вот как? — насторожился Чаадаев.

Михаил говорил спокойно, но Чаадаев почувствовал, что брат еще не преодолел недавно пережитого испуга.

— Из-за Ивана?

— Да, — кивнул брат, — искали какие-то бумаги.

— Что-нибудь нашли?

— Что могло быть у тетки? Сам понимаешь. Мы сидели, пили чай, как вдруг — зазвенел колокольчик... Представляешь, тихо, мы пьем чай, никого не ждем и вдруг — колокольчик... Такой звонкий-звонкий колокольчик...

Михаил остановившимися глазами смотрел на брата.

— Не нашли ничего, так и бог с ним. — Чаадаев старался говорить веселее, чтобы стряхнуть наваждение. — А тетушка?

— С ней был обморок.

— Что же они могли искать? Иван был вне подозрений.

— Это тебе так кажется, — возразил брат. — Сейчас только и слышишь о тайных обществах, карбонариях.

— Неужто? Даже ты в своей деревне слышишь?

— А ты не ерничай, — обиделся брат, — сам-то небось тоже в каких-нибудь масонах. А теперь вот в отставку хочешь. Разве это не крамола?

— Разумеется, крамола: человек хочет жить так, как он сам хочет, а не так, как царь велит. Ты прав, это у нас в России самая опасная крамола.



Из Москвы Чаадаев уезжал в зимний день. Мела поземка. Белые струи змеились по дороге. Снежную пыль бросало в лицо.

Чаадаев закрывался воротником медвежьей шубы, которую дал ему в дорогу брат, и, прищурившись, смотрел, как мелькают мимо особняки, церкви, домишки, заборы.

Теплая, сытая, благоустроенная Москва бежала назад, растворялась и пропадала в струящемся снеге.

Неуклюжий инвалид в тулупе до пят поднял шлагбаум, и тройка вылетела на столбовую дорогу.

Хорошо было лежать на мягком сене в санях, закутавшись в шубу и укрывшись войлочной полостью!

Свистит ветер, вызванивают свою неумолкающую песню колокольчики, временами покрикивает и взмахивает кнутом ямщик. Покрикивает больше для себя — чтобы взбодриться. А лошади и без его понуканий бегут бодро. Знают, поди, что там, за метелью, далеко впереди — тихий, укрытый от ветра двор, кормушка с овсом, отдых.

В такую метель на гладкой дороге можно ни о чем не думать, а лежать себе да лежать, задремывая...

Но это состояние продолжалось недолго. Прошло два или три часа, и Чаадаев сбросил сладкую, убаюкивающую дрему.

Снова в памяти воскресал до мельчайших подробностей разговор в Троппау.

В Новгороде, ожидая лошадей, Чаадаев бродил по Торговой стороне, глядел на сутолоку возле церквей, слушал перезвон колоколов и думал о том, что когда-то здесь, на этой древней земле, раздавались иные звуки.

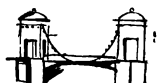
Да и было это не так уж, по сути дела, давно, каких-нибудь триста лет назад. Гудел вечевой колокол. Гудела новгородская вольница, заставляя московских князей относиться к себе с уважением и опаской.

Сколько раз друзья Чаадаева спорили об этой русской республике! Она маячила им из прошлого ободряющим примером и упреком.

Здесь, в Новгороде, Чаадаев почувствовал, как в их споры о будущем устройстве России вторглись новые — зримые, осязаемые доводы: эти белые стены церквей и подвожий видели тех, вольных новгородцев, слышали их смелые речи.

Но нынче с церковных колоколен Торговой стороны, с колокольни кремля из-за реки неслись перезвоны обыкновенных колоколов. А тот, священный колокол давно был снят и увезен пленником в Москву...

По Ярославову дворищу сновали верноподанные нынешнего царя россияне, а вдали, за излучиной замерзшей реки, сверкали белизной в зимнем небе стены Юрьева монастыря. Там — Фотий, хитрый, властолюбивый монах, подчинивший своей воле императора.



Друзья Чаадаева, с которыми он посоветовался о своей отставке, не были единодушны.

По мнению Матвея Муравьева, Чаадаев уже к тридцати годам, став флигель-адъютантом, получил бы генерала. А тогда и власть в его руках оказалась бы значительной, и влияние на ход государственных дел он смог бы оказать весьма заметное.

Александр Раевский утверждал, что военная и статская службы одинаково стеснительны для человека, который посвящает себя серьезным наукам. А потому Чаадаев принесет себе, а следовательно и обществу благо, освободившись от военной службы.

Николай Тургенев понял Чаадаева лучше других. Он, так же как и Чаадаев, признавал, что после неудачной попытки говорить с царем надо искать каких-то новых путей — и для России, и для себя лично.

— Я знаю, тебе нелегко отказаться от эполет. Откровенно говоря, не представляю тебя в штатском.

— Я уже пробовал, — Чаадаев с улыбкой рассказал Тургеневу, как шагал ночью по Троппау во фраке и панталонах.

— Не проиграем ли мы в будущем, если ты выйдешь в отставку?

— Кто знает, что случится через год или два? Навряд ли Россия будет готова для революции.

— В Испании, наверное, тоже не предполагали...

— Там были иные обстоятельства. Да и характер у испанцев не тот.

— Не думаешь ли ты, — иронически скривил губы Тургенев, — что от характера народа зависит начало революции?

— Русский мужик терпелив, солдат вынослив. А дворяне? Тоже ко всему притерпелись. Вот власть и смотрит на нас, как на дворовых псов: каждый на привязи, каждый держится за свою кормушку.

— Вот, значит, что ты задумал...

— Пойми, других средств у меня нет. Политических стихов я не пишу. Ученых трактатов не сочиняю. А я хочу, чтобы о моем отношении к царской службе заговорили.

— Что ж, может быть, ты и прав.



Выслушав своего адъютанта, Васильчиков заявил, что это, по его мнению, просто-напросто фанаберия. Что же до того, что против Чаадаева есть кое-какие нелестные мнения, то он, Васильчиков, все постарается уладить. Даже готов, если надо, особо переговорить с государем. «Не надо», — отрезал Чаадаев и тем самым удивил и обидел генерала еще больше.

Писарю корпусного штаба в тот же день он продиктовал:

«Просит адъютант командующего отдельным гвардейским корпусом генерал-адъютанта Васильчикова, — л. гв. гусарского полка ротмистр Петр Яковлев сын Чаадаев о нижеследующем...»

Он глядел, как писарская рука выводит шеренги витиеватых букв, перечислял веки своего продвижения по службе и те сражения, в которых принимал участие:

«...в генеральном сражении августа 24 и 26 при селении Бородине и при преследовании неприятеля октября 6 в ночной экспедиции при разбитии неприятельского корпуса при селении Тарутине в резерве, — октября 11 под г. Малым Ярославцем, 1813 года января при выступлении Российской Армии в прусские владения при переходе через реки Неман, Вислу, Одер, и Эльбу. Апреля 20 в генеральных сражениях

Саксонского владения при г. Люцене. Мая 9 при г. Бауцене...»

Писарь послушно переносил слова ротмистра на бумагу и, скорее всего думал о том, что адъютант для того так подробно перечисляет свои заслуги, чтобы верней подкрепить какую-нибудь просьбу.

Так чаще всего и бывало, когда офицеры корпуса прибегали к его услугам.

Однако ротмистр Чаадаев, закончив перечисления сражений и наград, продиктовал:

«Ныне же домашние мои обстоятельства не позволяют далее продолжать службы Вашего Императорского Величества, а потому прилагая у сего реверс о том, что по увольнении меня от службы о казенном пропитании просить не буду, всеподданейше прошу...»

Писарь поднял на Чаадаева недоумевающие глаза, но Чаадаев положил ему руку на плечо:

— Все так, правильно, Егор.

Но корпусной писарь, капрал Егор Егоров, должен был для собственного успокоения удостовериться еще в чем-то.

— Женитесь, ваше благородие?

— Нет, — улыбнулся Чаадаев. — Ты пиши.

Егоров вздохнул, обмакнул перо и опять застрочил по бумаге:

«Дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено было сие мое прошение принять и меня именованного по домашним обстоятельствам от службы уволить».



Тетушке, Анне Михайловне Щербатовой, которая после смерти матери заменила ее в детстве ему и брату, он так объяснял свой поступок, не вдаваясь, глубоко в его подлинные мотивы:

«Сначала не хотели верить, что я серьезно помогаюсь этого, затем пришлось поверить, но до сих пор не могут понять, как я мог решиться на это в ту минуту, когда я должен был получить то, чего, казалось, я желал, чего так же

лает весь свет, и что получить молодому человеку в моем чине считается в высшей степени лестным... Я нашел более забавным презреть эту милость, чем получить ее. Меня забавляло выказывать презрение людям, которые всех презирают... Вы знаете, что во мне слишком много истинного честолюбия, чтобы тянуться за милостью и тем нелепым уважением, которое она доставляет. Если я и желал когда-либо чего-либо подобного, то лишь как желают красивой мебели или элегантного экипажа, одним словом — игрушки; ну что ж, одна игрушка стоит другой. Я предпочитаю позабавиться лицезрением досады высокомерной глупости».



Спустя некоторое время он получил письмо, которое лишний раз подтверждало правильность сделанного шага.

Из Кременчуга молил его сосланный туда Мишель Бестужев-Рюмин.

«Он, — писал Мишель о своем новом командире генерале Роте, — сунул нас в учебный батальон, где муштруют по 7 часов в день, правда, обнадежив нас, что через три месяца мы будем произведены... Командир корпуса направил меня в Кременчук вместо Полтавы, не желая, по его словам, разлучать с товарищами по несчастью. А между тем я здесь не слишком-то хорошо себя чувствую, потому что превыше всякой силы человеческой выносить вытягивание поджилок по семь часов в день.

Ради бога напишите, могу ли я питать надежду на обратный переход в гвардию, ибо

Нас настоящее страшит, коль не окрашено оно грядущим.

Прощайте, любезный Чадаев, извините за разброд в письме: клянусь вам, я не пришел в себя; так ошеломлен всем приключившимся со мной, что у меня голова еще идет кругом...

Если я испытал много огорчений и скуки, зато зародились новые мысли: я повидал много таких вещей, от которых волосы становились дыбом; отрадного было очень мало».

Но что мог сделать Чаадаев для несчастного юноши? Все хлопоты, которые он предпринимал и до поездки в Троппау и после, ни к чему не привели.



21 февраля 1821 года Чаадаев был уволен из армии без присвоения ему очередного звания, как это происходило обыкновенно со всеми выходящими в отставку. Этим царь давал ощутить меру своего недовольствия строптивым и подозрительным офицером.

Генерал Васильчиков при последнем свидании более определенно выразил себя:

— Признаться, батенька, не ожидал. Как ваш бывший командир скажу: вы поступили неблагородно.

— У нас разные понятия о благородстве, генерал.

— Понятия могут быть только одни, — важно возразил Васильчиков, — все мы, дворяне, служим своему государю.

— Я всегда служил отечеству, — сказал Чаадаев, не для того, чтобы убедить в чем-то генерала, а потому, что ему было приятно произнести вслух эти слова в присутствии своего бывшего начальника.



Увидев впервые Чаадаева во фраке, Иван Якушкин сделал гримасу:

— Вообразить даже не мог!

— Тебе не нравится? — притворился удивленным Чаадаев.

— Мне-то что? — шутил Иван. — А вот твоим прелестницам?

— Придется менять прелестниц, — шутил и Чаадаев.

— А вообще — что думаешь делать?

— Жить, — пожал плечами Чаадаев. — Все почему-то полагают, будто жизнь для меня должна остановиться. Но ты сам сбросил мундир, и разве для тебя мало дела?

— Дел прибавилось, — многозначительно сказал Якушкин.

— Как твоя поездка?

Иван ответил с горячностью:

— Там, брат, не сидят сложа руки! И болтунов у них меньше, чем у нас в Петербурге.

— Вот как!

— Решили распустить Союз Благоденствия.

— Что же вместо него?

— Ты полагаешь, непременно надо в место?

— Да ведь я тебя знаю, и Никиту Муравьева, и Трубецкого. Вы же не станете просто так рушить то, что уже принесло плоды. И на юг ты ездил не для того, чтобы известить о роспуске Союза. Можешь со мной не хитрить.

— Я и не хитрю, — веселел Якушкин. — Мы распустили прежний союз, чтобы создать новый. В нем не будет случайных людей.

— Можешь поверить, я так примерно и предполагал.

— Вот и отлично! Значит, ты по-прежнему остаешься с нами?

— А ты как думал?

— Я тоже так примерно и думал, — засмеялся Иван.



А Пушкин прислал с юга стихи.

Чаадаев разбирал знакомый, быстрый почерк и с отрадой убеждался, что Пушкин достиг наконец того, к чему безуспешно стремился в суматохе света:

В уединении мой своеправный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.

Эти слова передавали настроение не только Пушкина, но и его, Чаадаева, и Грибоедова, и братьев Тургеневых и многих других.

Александр писал в стихах о дружбе с восторгом и упоением; это было так на него похоже и так понятно в его положении изгнанника.

«Во глубину души вникая строгим взором, — обращался он к Чаадаеву, — ты оживлял ее советом иль укором; твой жар воспламенял к высокому любовь; терпенье смелое во мне рождалось вновь...»

«Но дружбы нет со мной», — жаловался поэт Чаадаеву, называя его единственным другом.

Эта грусть родилась, конечно, вовсе не потому, что у Александра там, на юге, не оказалось настоящих друзей. А скорее всего именно оттого, что старые и новые друзья по-прежнему что-то скрывали от него. Не подошли к нему так же открыто, как он к ним. Поэтому Пушкин бросился мысленно к нему, другу петербургских лет, веря в то, что Чаадаев отнесся бы к нему с бóльшим доверием и участием.

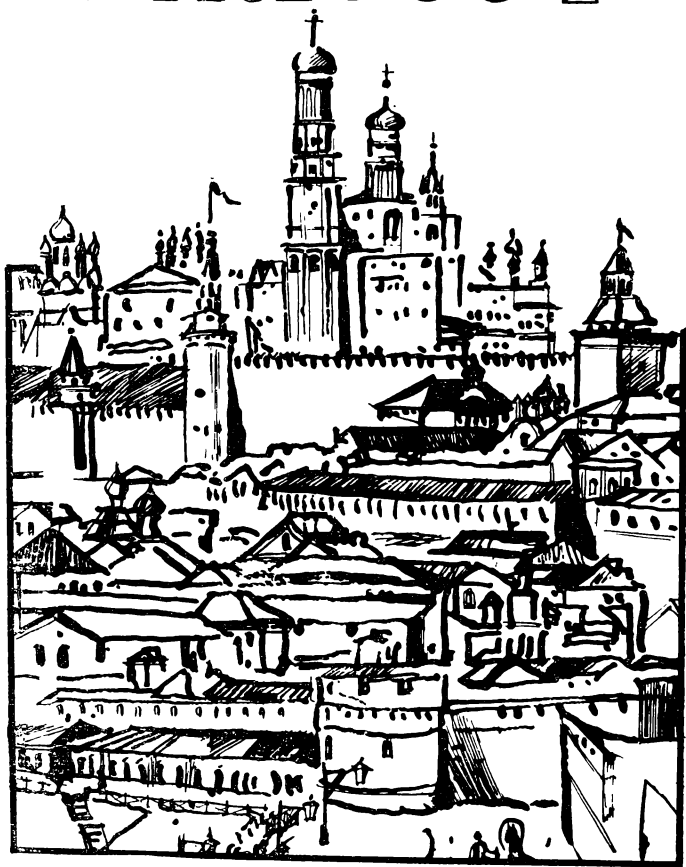
Одно желание: останься ты со мной!
Небес я не томил молитвою другой.
О скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки?
Когда соединим слова любви и руки?
Когда услышу я сердечный твой привет?..
Как обниму тебя!

Листок со стихами Пушкина Чаадаев спрятал в шкатулку, где хранились самые драгоценные для него вещи: кольцо и серьги матери, ее письма к отцу, отцовский орден святой Анны и свой, такой же, полученный за сражение под Кульмом; записка Вольтера, подаренная Екатериной Второй деду, известному историку и публицисту Щербатову; и то, первое, послание Пушкина, написанное вскоре после его выхода из лицея, в 1818 году.



Ч А С Т Ь В Т О Р А Я

БАСМАННЫЙ ФИЛОСОФ





*Желанье счастья в меня вдохнули боги.
Я требовал его от неба и земли,
И вслед за призраком, манящим издали,
Жизнь перешел до полдороги...*

Е. А. Баратынский



тставка Чаадаева надолго взбудоражила умы в обеих столицах. До него доходили самые нелепые слухи о ее причинах. В головах благонамеренных дворян просто не укладывалось, что человек по своей воле может пренебречь такой карьерой. Эта часть общества сходилась в том, что Чаадаев несомненно чудак, и притом опасный.

В правительстве верно оценили «чуждость» бывшего ротмистра, причислив его к разряду неблагонадежных. Чаадаев мог бы гордиться, узнав, что в глазах царя он стал в один ряд со строптивым Денисом Давыдовым и ссыльным Пушкиным.

Александр Раевский, продолжавший служить в штабе Васильчикова, передавал однажды Чаадаеву, что у генерала был неприятный разговор с военным министром: Аракчеев жалел, что Чаадаева не успели примерно наказать, а надо было бы — в назидание прочим.

«Теперь-то уж я вам неподвластен, — подумал Чаадаев, представляя, как высказывал неудовольствие граф. — Ни Аракчеев, ни царь, ни сам господь бог не отнимут у меня отныне свободы».

А свободу Чаадаев решил употребить на пополнение своих знаний. Он томился в Петербурге и не верил, что противники аракчеевского режима получают в ближайшее время возможность действовать.

Чаадаева манили западноевропейские университеты, где можно было слушать лекции знаменитых ученых; библио-

теки Берлина, Лондона, Парижа... И было еще одно чувство, еще одна причина, которая влекла его в Европу. Прошло десять лет с тех пор, как он воевал там, многое стиралось в памяти. Чаадаева неудержимо тянуло туда, где сражался его родной Семеновский полк



Для поездки требовались средства. Пришлось делить с братом имение.

Операция оказалась непростой, так как земли и деревни, принадлежащие Чаадаевым, невозможно было поделить на две равные доли. В конце концов решили так: Петру доставалось четыреста пятьдесят душ, Михаилу же отходила бо́льшая и лучшая часть имения, и он должен был за несколько лет выплатить брату возмещение деньгами.

Все бы и закончилось на этом и к обоюдному согласию, если бы для Чаадаева перевод части имения на его имя не означал лишь начало того, что он задумал. А задумал он — освободиться вообще от бремени владения крепостными.

О его решении продать деревни, естественно, вскоре узнали в свете. Опять там вспыхнули кривотолки.

Встретившись с ним на Невском, его бывший сослуживец Лачинов грубовато спросил:

— Что это тебе вздумалось продавать свои деревни?

— Оттого и вздумалось, — поморщился Чаадаев, — что это мои деревни.

Он сделал ударение на слове мои.

— Напрасно, — Лачинов не улавливал чаадаевского настроения. — Ты же лишишься ежегодного дохода.

— Я продаю выгодно, — холодно сказал Чаадаев.

— Кто же в этом сомневается! — словно обрадовался Лачинов. — Но поверь, дворянину лишь в крайнем случае надобно продавать свои родовые.

— У меня как раз крайний случай.

— Все равно не одобряю.

— Это одобрено свыше. — И, насладившись недоумением на лице Лачинова, Чаадаев пояснил: — В евангелии от

Луки сказано: спрашивали Иоанна Крестителя воины — что им делать? И ответил им он: никого не обижайте, не клеветайте, довольствуйтесь своим жалованьем.

— Но ты же перестал получать жалованье, — с некоторой оторопью отозвался Лачинов.

А тетушка Анна Михайловна прислала из деревни слезливое письмо, в котором пеняла племяннику за новое сумасбродство, выражала подозрение в том, что ему надо выплатить карточный долг, обрушивала громы и молнии на молодежь и умоляла ей открыться.

С растрогавшим Чаадаева самозабвением тетушка успокаивала непутевого племянника и заверяла его, что, если понадобится, готова пожертвовать ради него своим состоянием.

Чаадаев, как мог, успокоил ее. Представления о мире она имела самые патриархальные. Братья, дети ее рано умершей сестры, являлись единственной ее заботой. Своей семье тетушка не имела, оставшись старой девой и сохранив когда-то гордый, а теперь даже отчасти и утомительный титул княжны Щербатовой.

Михаил взволновался так же, как и она, но для урезонивания брата прискакал из Москвы в Петербург.

— Зачем ты продаешь имение? — горячился он.

— Затем, что пользоваться трудом несвободных людей безнравственно.

— Благодарю, — брат отвесил Чаадаеву поклон, — значит, по-твоему, я и все другие дворяне, кто не продает своих имений или не отпускает на волю крестьян, безнравственные люди?

— Несомненно.

Михаил даже не нашелся, что ответить, и в волнении стал ходить по комнате.

— Все это глупости... — наконец заговорил он, но, встретив насмешливый взгляд Петра, поправился, — то есть я хотел сказать философствование. Нынче многие с ума посходили. Не понимаю, в чем дело? Жили мы мирно, служили честно. Наполеона побили!

— Вот именно!

— Я знаю, что ты хочешь сказать. Но я тоже был в заграничном походе, однако я...

— Разве дело в одном походе? Ты посмотри вокруг себя, Миша. Неужели ты можешь жить спокойно?

— Но я ведь живу? И все живут! Почему ты не можешь?

— А я не могу, когда миллионы моих соотечественников прозябают в рабстве!

— Не знаю, — насупился брат, — я забочусь не только о себе, но и о своих крестьянах.

— Я нисколько не сомневаюсь в твоём благородстве! — воскликнул Чаадаев. — Но пойми, нельзя, чтобы все зависело от прихоти добрых, а тем более злых людей.

— Может быть, ты и прав, — сник брат, и постороннему слушателю показалось бы, что это произносит Петр Чаадаев (голоса братьев были удивительно похожи). — Но так заведено от века. А я хочу покоя. Хочу жить в своей деревне, наслаждаться природой и...

— Самим собой! — сердито перебил его Петр, и опять могло показаться, что это говорит один и тот же человек. — Я хочу! А ты подумал о том, что твои крестьяне тоже чего-то могут хотеть?

— Поэтому ты почел за лучшее продавать своих? — язвительно парировал брат. — Ты от них избавился и вообразил, что решил проблему!

— Проблему я не решил, — печально сказал Чаадаев.

— Уступил бы их мне, — прозвучала досада в голосе брата; он пристально посмотрел на Петра. — Ты уже оформил купчую?

— Нет, — признался Чаадаев, с Михаилом он не умел лукавить. — Обещают на той неделе кончить.

— Брат, — задрожал голос Михаила, — останови сделку. Я буду тебе регулярно выплачивать доход с твоих деревень.

Чаадаев покачал головой.

— Не спеши, — настаивал Михаил. — Я готов оценить твои порывы. Но разве ты забыл, как мы с тобой ездили летом в Хрипуново? Это же наша земля! Нельзя так легко отдавать ее другим.

— Я не отдаю легко, — как эхо откликнулся невеселый голос.

— Ну, какая тебе разница, что за барин купит твоих крестьян? А я клянусь тебе: лучшего помещика у них не будет.

— Зачем ты приехал? — угрюмо спросил Чаадаев. — Мне и без того нелегко.

— Пусть грех ляжет на мою душу, раз ты считаешь это грехом. А я никогда не ходил в прогрессистах...

— Да, Миша, мы вряд ли пойдем друг друга.

— Я-то тебя понял. Ты — с теми, кто устраивает революции по всей Европе. Страшно подумать, чем все это может для тебя обернуться!

Расставаясь с братом, Чаадаев все же обещал, что деревни продавать не будет.



Переход из Кронштадта в Англию по морю занял около трех недель.

Сначала плавание было приятным. Качки почти не ощущалось, корабль быстро и плавно скользил по воде. Чаадаев целые дни проводил на палубе.

Там работали матросы, покрикивал боцман, хлопали паруса. Корабельная жизнь была увлекательной и полной смысла. Но Чаадаев смотрел на нее со стороны. Он был пассажиром и переживал полную отрешенность ото всего на свете. Где-то остался Петербург, с его суетой, светскими сплетнями, службой. Впереди, за горизонтом таилась неведомая земля, куда он стремился. А пока — полный покой, дни, наполненные свистом ветра в снастях, криком чаек, ни к чему не обязывающими разговорами с попутчиками.

В Копенгагене на корабль сел круглолицый англичанин. Он поселился в каюте по соседству с Чаадаевым и оказался общительным, но ненавязчивым человеком.

Из-за перегородки, разделявшей их каюты, Чаадаев в первый же вечер услышал его пение. Дребезжащим, но приятным баритоном англичанин пел какую-то странную песню, слов которой Чаадаев разобрать не мог.

Потом в его дверь постучали, англичанин просунул в чаадаевскую каюту седую стриженую голову и вежливо осведомился, не беспокоит ли он соседа.

Чаадаев, разумеется, уверил его, что он в восторге. Англичанин просиял и, словно потчует изысканным лакомством, сообщил, что пел песню, слышанную им на Цейлоне...

Англичанин был миссионером, звали его мистер Кук.

На другой день, к вечеру, когда корабль вышел в Север-

ное море, Чаадаев был втянут в философский спор с мистером Куком. Однако вскоре этот интересный и неожиданный для Чаадаева спор был прерван поднявшимся штормом. С палубы пришлось убраться, а в каюте Чаадаев очень скоро убедился, что разбушевавшаяся морская стихия — не для него.

Корабль то валился на борт, то вдруг проваливался куда-то вниз, и не было никакого спасения от этой пытки.

Чаадаев лежал на своей койке сначала белый, как полотно, потом лицо его стало серым. К утру он был совершенно больным.

Иван Яковлевич сначала держался немного лучше своего барина и даже старался ухаживать за ним, но морская болезнь скоро уложила и камердинера.

Мистер Кук заглянул к ним утром и сразу все понял: — Ай-я-яй, зачем же вы сели на корабль? Да, теперь ничего не поделаешь. Бог даст, шторм скоро кончится.

— А как там? — спросил слабым голосом Чаадаев.

— Ад! — восторженно крикнул мистер Кук. — Слышите, как ревет?

— Вы думаете, шторм скоро кончится?

— Я уверен!

Но шторм и не собирался утихать. Наоборот, казалось, что с каждым часом он становился свирепее.

Чаадаев прислушивался к звукам с палубы, к ударам волн, к скрипам внутри корабля, и ему казалось, что их деревянная посуда вот-вот развалится.

Мистер Кук перебрался в их каюту. Качка не терзала его. Он говорил: страдает лишь от того, что разыгрывается зверский аппетит, а есть много ему, при его полноте, опасно.

Чаадаев на пищу не мог даже смотреть.

Правда, мистер Кук заставил его и Ивана Яковлевича сосать лимон и утешал разговорами о том, что даже знаменитый адмирал Нельсон, как говорили ему, Куку, знакомые моряки, тоже страдал от морской болезни.

На шестой день шторма беспокойство начало охватывать и мистера Кука. Ветер не ослабевал, а корабль потерял мачту и с трудом одолевал волны.



Их носило по морю больше недели.

Когда шторм кончился и корабль добрался до берегов Англии, Чаадаеву было уже безразлично, где он и что с ним. Земля качалась, голова болела, во всем теле была противная слабость.

Мистер Кук решительно заявил на берегу:

— Я отвезу вас в Брайтон!

— Нет, нет, — запротестовал Чаадаев, — вы и так на меня потратили столько времени и сил!

— Пустяки, — отмахнулся мистер Кук и крикнул какому-то оборванцу: — Эй! Хочешь заработать? Найди нам хороший кэб, да побыстрее! До Брайтона не далеко, — пояснил он Чаадаеву, — но это будет не морское путешествие. Вы оцените наши дороги.

— Но почему Брайтон? — пытался возразить Чаадаев.

— Потому что Брайтон — это то, что вам надо! — с энтузиазмом воскликнул мистер Кук.

— Я сам не знаю, что мне сейчас надо, — выжал улыбку Чаадаев, которому были все-таки приятны хлопоты этого доброжелательного толстяка.

Через несколько часов они остановились на окраине зеленого городка, возле дома, который напоминал Чаадаеву гравюру из одной книги, читанной в детстве. Там был такой же одноэтажный дом, со стрельчатыми окнами и высокой черепичной крышей.

На крыше скрипел флюгер, изображавший стрелка из лука.

И даже хозяйка, встретившая их у ворот, была, несомненно, оттуда, из сказочной старины: в накрахмаленном фартуке, с седыми буклями, выбивавшимися из-под смешного чепчика.

Мистер Кук сам выяснил все условия и не успокоился до тех пор, пока не проверил, что его русскому другу будет здесь покойно.

Затем он церемонно раскланялся и укатил в Лондон, взяв с Чаадаева слово, что, когда тот поправится, отдохнет и приедет в столицу Англии, то непременно навестит его, мистера Альву Грегори Кука.



Дом стоял «на расстоянии двух ружейных выстрелов от морского берега», как сообщал Чаадаев в письме на родину.

Он уходил гулять вдоль моря. Тропа вилась над обрывом, в скалах; полоса прибоя местами оставалась далеко внизу.

Иван Яковлевич пошел один раз вместе с ним, но вернулся с полдороги. Его пугала высота. Потом каждый день, ожидая барина, он беспокоился и ворчал.

А Чаадаева оживили именно эти прогулки. Он раньше и не подозревал, что можно так беззаветно радоваться просто небу, солнцу, шелестящим кустам, свежему ветру, морю, которое расстиралось до горизонта...

Здесь, на берегу, он вспомнил стихи Пушкина, присланные им когда-то с юга.

Стихи были о море. Пушкин прощался в них с молодостью, друзьями, жалел о том времени, когда жертвовал покоем, славой и свободой ради минутных увлечений.

Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...

Волшебные строчки успокаивали, укачивали и шумели, как волны:

Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.

Много бы сейчас отдал Чаадаев, чтобы встретить здесь Александра...

Чаадаев уходил рано утром и возвращался к обеду.

Он полюбил и свое новое жилище, и старый дом, увитый плющом и диким виноградом. В саду вокруг дома росли розы и кипарисы. Один розовый куст был так высок, что цветы качались в окне чаадаевской комнаты. А окон Чаадаев не закрывал ни днем, ни ночью...

Вскоре, однако, странное чувство стало овладевать им в этом благословенном уголке земли. С каждым днем оно все больше мешало наслаждаться красотами природы, уединенными прогулками по живописной тропе в скалах.

Вся эта тишина и благодать как-то очень уж напоминали отечественные поместья и прекрасные дворянские дачи где-нибудь в Петергофе или Царском Селе. Те же вели-

коленные розарии, беседки, заросшие плющом, уютные домики с красивой мебелью.

Нельзя было не думать о том, что и в Англии эта обстановка тешила равнодушных людей, которые помышляют только о собственном счастье...

Сначала, в первые дни в Брайтоне, Чаадаев боялся, что ему будет трудно покинуть этот край, но уезжал он с легким сердцем. Ему уже хотелось новых впечатлений и встреч. Лишь Иван Яковлевич ворчал потихоньку — его вполне устраивала размеренная жизнь у моря.

На следующий день по приезде в Лондон Чаадаев поспешил в парламент (его не раз вспоминали члены Союза Благоденствия в своих спорах о будущем устройстве России) и первым человеком, с которым он столкнулся на галерее для гостей палаты общин, оказался мистер Кук.

Англичанин был безмерно рад — на правах старого лондонца он мог все объяснять и показывать в парламенте своему русскому другу.

В то же время британская гордость не мешала Куку делать язвительные замечания по адресу некоторых парламентариев. Это, пожалуй, было для Чаадаева самым привлекательным в объяснениях его темпераментного гида.

— Видите вон того господина? — ткнул он бесцеремонно своим коротеньким пальцем в сторону представительного джентльмена, когда они выходили из парламента; джентльмен поднимался по лестнице и едва отвечал кивком головы на приветствия встречаемых. — Один из самых богатых людей Англии. Главный ругатель лорда Байрона.

О Байроне и о том, что его хорошо знают в России, речь шла еще на корабле, перед штормом...

— Чем же ему не угодил лорд Байрон? — поинтересовался Чаадаев.

— Вы лучше спросите, чем он мог бы угодить нашим толстосумам? — хмыкнул Кук.

— Говорят, его сейчас нет в Британии?

— Совершенно верно... — И, понизив голос, Кук поведал Чаадаеву о том, что, по верным слухам, поэт переехал в Грецию, где примкнул к повстанцам.

Это известие обожгло Чаадаева.

Он сразу подумал о Пушкине, который находился одно время в Кишиневе и там, по словам Якушкина, встре-

чался с князем Александром Ипсиланти, а князь, как известно, был руководителем греческой этерии...



Мистер Кук снабдил Чаадаева рекомендательными письмами к ряду интересных лиц как в самой Англии, так и в других странах.

Начались переезды из страны в страну, из города в город...

Большинство людей, с которыми встречался Чаадаев, удивлялось обширности его познаний. С ним вели долгие беседы профессора Иены, Берлина, Сорбонны. Чаадаева принимали за путешествующего ученого, который ищет полезных встреч со своими собратьями. Внимание иностранцев сначала льстило, потом забавляло, наконец стало раздражать Чаадаева. Германия, Австрия, Франция, освобожденные десять лет назад русскими войсками от власти Наполеона, сохранили цепкое воспоминание о казаках и царских уланах, но наивно не хотели верить в то, что в России могут быть серьезные успехи в науках и искусстве.

Профессор университета в Эрлангене Шеллинг предложил Чаадаеву остаться в его городе, а когда Чаадаев отказался, стал с некоторой даже обидой убеждать, что только в Германии можно совершенствоваться в такой высокой области наук, какою является философия.

Чаадаев вежливо отклонил предложение.

— Не понимаю, — удивленно поднял брови профессор. — Многие молодые люди в Германии были бы счастливы... Здесь вы добьетесь большего, чем в России. Что вас удерживает? Вы полны сил, независимы, прекрасно говорите по-немецки...

— Я польщен вашей оценкой, профессор, — спокойно улыбнулся ему Чаадаев.

— Вы связаны какими-нибудь обязательствами?

— Да, связан. Долгом перед родиной.

— Это похвально, но очень уж чувствительно, — холодно посмотрел на него профессор.

— Нам трудно отрешиться от своих чувств. — И Чаадаев перевел на немецкий язык заветные строчки:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

— Это написал наш поэт Александр Пушкин.

— У поэтов иная жизнь, — недовольно заметил Шеллинг.

«Но не у нас с Пушкиным», — подумал Чаадаев.

Наука не являлась для него целью. Свои знания он собирался использовать в том общем деле, которому отдал свою лиру Пушкин, которому посвящали себя члены Союза Благоденствия, знакомые и незнакомые Чаадаеву соотечественники, создавшие в Петербурге и на юге России после роспуска Союза новые тайные общества.



Во Франции Чаадаев проехал по тем местам, где воевал в 1814 году.

Жители чистеньких городков и деревенок встречали его в меру приветливо, в меру расчетливо (французы умели считать деньги), но ничем не выдавали своего участия в том далеком, тревожном времени. Впрочем, и тогда — вспомнилось Чаадаеву — мирная жизнь французских граждан как-то умудрялась почти нерушимо существовать рядом с передвижениями своих и вражеских войск, с военной тревогой, неизбежными поборами на пропитание войск.

По улицам без суетни катились повозки, груженные разнообразной кладью, горожане деловито сновали или безмятежно сидели за столиками кафе, крестьяне в аккуратной одежде важно шли на рынок... А Чаадаев вспоминал, как грохотали здесь по брусчатке мостовых колеса пушек, выбивали дробь барабаны, запыленные семеновцы маршировали побатальонно, соблюдая строй, печатая шаг, несмотря на не проходящую неделями усталость.

Всплывали в памяти сцены, обрывки разговоров, лица солдат и однополчан-офицеров.

В одной французской деревушке живо припомнился случай, и забавный и очень характерный для тех времен, когда новые и часто неожиданные впечатления обрушились на них, русских, в том заграничном походе.

Зимой 1814 года их полк вошел в эту французскую деревню, приютившуюся на границе Франции и Германии.

Штабс-капитан Фенш, проскакавший пол-Европы с короткими остановками на ночлег и впервые осмотревшийся только здесь, удивленно вышагивал по мощеной деревенской улице и щелкал языком:

— Черепица-то, черепица! У меня в Алексеевке на собственном доме такой нет!

Фенша ранили еще в России, он долго лечился, потом взял отпуск и уехал в эту свою Алексеевку — «наводить порядок». Ее, говорил он, начисто разорили наполеоновские солдаты... И вот теперь глядел на все как провинциал, хотя мог бы, казалось, кое-что знать из книг и понаслышке.

Нимало не смущаясь, он заглядывал в прибранные дворики и призывал Чаадаева удивляться вместе с ним.

Возле одного дома он заговорил с крестьянином, который грузил корзинами повозку. Крестьянин мало что понял во французской речи офицера и стоял, напряженно улыбаясь. Тогда на помощь пришел Чаадаев — он уже усвоил своеобразный французский язык этой пограничной с Германней области.

Штабс-капитан спрашивал, куда крестьянин повезет корзины? Тот отвечал, что в соседний городок на продажу, там завтра базар.

— Это хорошо, — похвалил Фенш, — значит, оброк уплачен?

— Оброк? — не понял крестьянин.

— Ну да, — сердито пробурчал Фенш, — они же свободны. Хорошенькие у них, надо сказать, порядки!

— Вольтерьянские, — рассмеялся Чаадаев.

— А вы не смейтесь, поручик, — озлился вдруг Фенш. — Вы еще, может статья, жизнь-то и не нюхали, и вам папенька из деревни деньги присылает... Эй, служивый! — кликнул он проходившего мимо драгуна.

— Слушаюсь, ваше благородие! — привычно вытянулся солдат.

— Ты чей?

— Второго эскадрона...

— Да нет, — раздраженно перебил его Фенш, — не о том спрашиваю. Ты сам-то из каких мест? Откуда родом?

— Тульские мы, деревня Жуковка... — Голос солдата дрогнул.

— А помещик твой кто? Был у тебя помещик?

— Как же, ваше благородие, не быть? Помещик у нас хороший, дай бог ему здоровья...

— Ну, ладно, ступай, — махнул рукой Фенш. — Вот видите. — В голосе штабс-капитана прозвучала удовлетворенность. — Это вам не Франция.

Да, это была не Франция...

И уже тогда, десять лет назад, Чаадаев думал о том, что для них, русских, встреча с мирным населением Европы оказалась страшнее, чем схватки с вооруженным неприятелем.

Стычки с врагом были привычны. Тут не было новизны. Военное искусство России не уступало и даже превосходило то, что противопоставил ему Наполеон. От кавалерийских атак и картечи сердца русских дрогнуть не могли. Но победителям стало больно, когда они столкнулись с жизнью, организованной более гуманно и разумно, чем на их родине.

Домик того крестьянина по-прежнему гордо высил свою черепичную крышу; и какой-то похожий на него крестьянин возился за оградой под яблонями. А может быть, это был он сам?

«А меня бы он узнал? — подумал Чаадаев. — Вряд ли. Да и что для него значил какой-то мимолетный разговор с двумя русскими офицерами? Наверняка он их тут же забыл, приехав на свой базар. Это мы не забываем ничего...»



В конце своего путешествия по Европе Чаадаев приехал в Карлсбад.

Слуги сгибались под тяжестью его чемоданов. Портье следил за их переноской и считал: чемоданов оказалось двенадцать. Хозяин их, несомненно, был очень богат. Портье судил об этом не только по количеству чемоданов, но и по одежде прибывшего и по его небрежно-величавой манере двигаться и говорить.

Этот господин знал себе цену. На отличном немецком языке он попросил комнаты непременно с балконом и с видом на горы и поднялся к себе на этаж, не удостоив портье каким-нибудь другим, посторонним разговором.

В книге для приезжающих он оставил замысловатую подпись. Портье долго ее разбирал, пока не догадался, что вновь прибывший — русский, как и те трое, с одинаковой фамилией, которые уже неделю жили в гостинице.

А еще через некоторое время он увидел, как они вчетвером, оживленно разговаривая, пересекли вестибюльную комнату и отправились вверх по улице, туда, куда обычно совершали пешие прогулки гости их города.

Так Чаадаев встретился с братьями Тургеневыми — Александром, Николаем и Сергеем.

Дни напролет они проводили вместе. Ездили верхом, гуляли, сидели подолгу в одном из ресторанов: он имел просторную застекленную веранду, откуда можно было без помех обозреть горы, которые в эту осеннюю пору часто покрывал туман.

Им было хорошо вместе. Они говорили и не могли наговориться. Разговоры их, правда, чаще всего оказывались совсем невеселыми: прошедший год приносил одну беду за другой. Революции в Неаполе, Испании были подавлены. В Греции неожиданно умер Байрон. Пушкина сослали в псковское имение отца...

Александр Тургенев вспомнил стихи Пушкина, которые гот послал ему еще два года назад. Там были обидные для нынешней Испании строчки:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Николай запротестовал:

— Это несправедливо!

— Почему? — язвительно спросил старший брат. — Разве испанцы не веселятся на своих карнавалах?

— Ничего это не доказывает! — горячился Николай.

— Ты хочешь сказать: люди не могут без карнавалов? — Александр выводил из себя Николая своим спокойным тоном.

— Нет, не это! Они опомнятся, дай время. Риегу не забыли.

— Что же с того, что не забыли? Дорого ли стоит эта память? — пожал плечами Александр. — Вот и Пушкин в тех стихах, по-моему, верно писал:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В поработанные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

— Может быть, все мы вышли слишком рано? — прозвучал и остался без ответа вопрос Александра.

— Надо возвращаться в Россию, — сказал Чаадаев.

— Зачем? — желчно возразил Николай. — Чтобы всякий день видеть перед собой вицмундирные рожи?

— Увы, на них мы любуемся и здесь...

В самом деле, Карлсбад был наводнен русскими. От соотечественников не было спасенья. В первый день Чаадаев не мог понять этому причины. Но все было просто и ясно, как и многое на их родине (хотя на этот раз действие перенеслось за границу): в Карлсбаде отдыхал великий князь Константин.

На курорт потянулись искатели великосветских удовольствий, знакомств и связей. Здесь все было несколько проще, чем дома или в Польше, где цесаревич исполнял должность наместника. На курорте он появлялся всюду только в штатском и разыгрывал из себя этакого доступного простым смертным светского льва.

Тургеневы и Чаадаев сторонились царского брата и окружавшей его толпы. Это, в свою очередь, вызывало косые взгляды. Тем более, что остроумная беседа четырех друзей привлекала многих аристократов, которые предпочитали проводить свое время в их обществе.

Обозначилось как бы соперничество, в котором верх явно одерживали эти четверо — раздражающе независимые и безукоризненно вежливые.

Однажды Чаадаев случайно услышал обрывок разговора двух дам, жен каких-то высокопоставленных русских.

«Бедняжка, он так хромает», — говорила одна о Николае Тургеневе. «Лорд Байрон тоже хромал», — перечила ей

другая. «И тоже был очень красив! — засмеялась первая. — Но ему так не повезло...»

Курортная жизнь была насыщена сплетнями и пересудами. Главное, что в этом маленьком городке некуда было от них деться. На отдыхающих и лечащихся вы наталкивались во время прогулок, в ресторане, в своей гостинице.

Чаадаеву были полезны карлсбадские воды (его туда послали врачи), но он стал подумывать о том, не перебраться ли в какое-нибудь другое место. И вдруг курорт в несколько дней очистился от всей великосветской публики, убравшейся вслед за цесаревичем, который умчался первым. Из России пришло известие: заболел царь...

В декабре европейские газеты сообщили о восстании в Петербурге.



Лето 1826 года выдалось жарким. После дождей и холода в мае наступил зной. Хорошо было бы задержаться в каком-нибудь тихом городке, с рекой и густыми каштанами... Но Чаадаев твердо решил возвращаться.

Польша, можно сказать, уже дом или — преддверие дома. На улицах русские мундиры, русская речь; в Польше — русская таможня...

В Варшаве багаж Чаадаева осматривали дотошно и долго. Он этому сначала не удивился: таможенники всех стран любили поглубже совать нос в чужие вещи. Но русский чиновник в Варшаве проявлял какую-то чрезмерную строгость.

Гора отложенных в сторону книг росла, а чиновник, не уставая, раскрывал чемоданы, вытаскивал новые, читал заглавия, перелистывал, держа корешок книги кверху — словно бы вытряхивая из страниц запрятанное в них нечто, и проявлял при этом, пожалуй, незаурядные познания как в языках, так и в определении уровня дозволенности. Сочинения Фурье, Консидерана, Вольтера и других философов безошибочно изымались им из общей массы книг.

«Нынче, наверное, всюду так, — решил Чаадаев, — власти до смерти напуганы восстанием, а суд, возможно, еще не окончен...»

С мая никого из русских, прибывавших из России, Ча-

адаев не встречал, а в письмах ни брат, ни тетушка, ни друзья ничего не упоминали о трагедии в Петербурге...

Чаадаев беспокоился, глядя, как рьяно потрошил его багаж таможенный чиновник.

Да, неласково и подозрительно встречали его на пороге родного дома.

Вспомнился день отъезда — три года назад, в июле 1823-го.

На пристани стояли Матвей Муравьев и Александр Раевский, махали руками, кричали...

По морю гулял ветер, у Муравьева едва не вырывало из рук шляпу. Раевский смешно зажмурился, когда на прощанье ударила пушка.

Чаадаев стоял на палубе, смотрел, как отдаляется пристань, как уменьшаются фигурки друзей. Разве мог он вообразить, что все так изменится на родине! Он уплывал из Кронштадта, куда за тридцать с лишним лет до того прибыл на паруснике из своего заграничного путешествия Николай Михайлович Карамзин. А сейчас вот нет уже и его...

Чиновник закончил осмотр книг и показал на отложенные:

— Эти, к сожалению, я должен изъять.

— Разве они чем-нибудь опасны? — выразил удивление Чаадаев.

— У меня есть инструкция, — пояснил таможенник.

— Я не получу их обратно? — наивно спросил Чаадаев.

— Нет.

— Но я затратил на них деньги!

— Вам следовало быть более осмотрительным. — Сочувствие, как показалось Чаадаеву, проскользнуло в словах чиновника, и Чаадаев моментально решил воспользоваться этим.

— Я ничего не знал. — Он говорил с подкупающей искренностью. — Эти книги я совершенно свободно купил в книжных лавках.

— Охотно верю.

— Я везу их лично для себя, никакого вреда они не произведут. — Он все еще надеялся спасти книги.

— Ничего не могу поделать.

— Мы могли бы порешить этот вопрос с вами лично...

— Сожалею.

Все это было необычным. Раньше, как было известно

Чаадаеву, таможенников удавалось в конце концов уломать. Но этот почему-то не поддавался.

Не мог же Чаадаев знать, что стоящий перед ним чиновник специально послан на таможенню для осмотра книг и бумаг отставного ротмистра; что чиновник — отнюдь не слушающий таможни и что инструкция, которую он упомянул, не является обычной, таможенной, а получена им от великого князя. Чиновник сам докладывал ему о донесении секретной полиции и сам потом посылал рапорт великого князя на имя его брата, нового русского царя.

Там между прочим значилось:

«... в бытность мою прошлого года в Карлсбаде я видел там сего ротмистра Чаадаева и знал, что он жил в больших связях с тремя братьями Тургеневыми, а наиболее из них так сказать душа в душу с Николаем Тургеневым... он был отправлен с донесением к покойному государю императору в Троппау о известном происшествии в означенном лейб-гвардии Семеновском полку, и его императорское величество изволили отзываться о сем офицере весьма с невыгодной стороны...»

Если бы этот донос попал в руки Чаадаева, он все равно не понял бы до конца, почему так мстительно и мелко, недостойно лица царской фамилии перечисляются «прегрешенья» бывшего офицера за границей и дома. Он и не догадывался, что великий князь не мог простить отщепенцу-гусару, что тот был так притягателен для карлсбадского общества, что одевался более изысканно, а держался более непринужденно и умно, чем он, цесаревич.

Разделавшись с книгами, чиновник потребовал от Чаадаева предъявления всех его бумаг, но не стал рассматривать их при владельце, а забрал с собой и ушел, оставив Чаадаева в полном недоумении.

«Не вернуться ли?» — мелькнуло у Чаадаева. Николай Тургенев, с которым расстался в Австрии, прямо предрекал: как только Чаадаев пересечет границу, его схватят.



Он смирил свою гордость и поехал во дворец к наместнику. Чаадаев решил просить выдачи обратно бумаг и книг. Но в канцелярии наместника его продержали час, а потом

известили что великий князь принять не может, и посоветовали ехать восвояси.

Взбешенный, Чаадаев покинул дворец.

От расстройства, а может быть, вкупе и от жары у него сначала разболелась голова, а вечером он почувствовал лихорадку.

Только через две недели, поправившись, он смог выехать из Варшавы, не зная, что, прочитав его бумаги, Константин послал своему брату еще одно донесение:

«По рассмотрении здесь оных бумаг, оказываются особенно из двух к нему, Чаадаеву, писем, следы связи его с Николаем Тургеневым, с Муравьевым и кн. Трубецким, теми, которые известны в возмущении; так же заслуживают особого внимания стихи, под названием «Смерть», в коих упоминается о Занте, рекомендательное письмо англичанина Коока, обнаруживающее предмет поездки Чаадаева в Англию...»

А в Брест наместник послал гонца с приказом задержать там Чаадаева, снять с него допрос, из города не выпускать, допрос представить в Варшаву и ждать дальнейших указаний.



И вот Чаадаев снова сидит перед чиновником, выслушивает его вопросы и, стараясь не рисковать, отвечает.

Рядом с ним за столом пристроился писарь и заносит на бумагу каждое слово.

Капитан-командор Колзаков, старый дока и крючковтор, невинно глядит в глаза Чаадаеву.

— В одном из писем Николая Тургенева, написанном к вам из Неаполя, — Колзаков подносит близко к лицу листочек с тургеневским письмом, — четырнадцатого февраля тысяча восемьсот двадцать пятого года, изъяснены следующие слова: «каждое письмо из Санкт-Петербурга, как бы оно бедно ни было в известии о том, что там делается, наводит меня на тяжелую грусть; живя там, мы ко всему присмотрелись, но здесь неистовство, глупость сильно поражают». — Колзаков откладывает письмо и дремотно глядит на Чаадаева. — К чему именно сии слова относятся и какая мысль в оных заключена?

«Ко всему, что происходит в России, и мысль здесь заключена самая благородная», — думает Чаадаев и отвечает, намеренно строя свою речь по-казенному:

— Зная совершенно положение Николая Тургенева по службе, не могу ничего другого сказать насчет сих слов, как только то, что, служа в департаменте законов государственного совета, имел он случай знать обо всех злоупотреблениях, чинимых в России, что производило в нем всегда сильное негодование. Кроме того, много думал он о положении крестьян в России, беспрестанно об этом предмете помышлял. Посему уверен, что его слова в письме относятся до сих предметов.

— А как вы сами о положении крестьян помышляете?

— Я в сем предмете Николаю Тургеневу не противоречил, видя крестьян благодарными от своих помещиков.

— Последние слова, кои мной зачитаны, остаются неясны... — напоминает Колзаков Чаадаеву, который почему-то «позабыл» их отметить.

— Что касается последних слов — «неистовство» и «глупость», — пожимает плечами Чаадаев, — то не могу сказать, что он под ними понимал.

— Однако они писаны вам.

— Я в затруднении растолковать их смысл. Боюсь, что здесь допущена неясность слога.

Колзаков, словно проверяя предположение Чаадаева, смотрит в письмо и шевелит губами. Потом вновь поднимает на допрашиваемого глаза:

— Кто сочинил имеющиеся между бумагами вашими стихи под названием «Смерть» и другие, относящиеся к Занту?

Что ж, это скрывать нету смысла. Сам автор не делал из них секрета. Странно, что чиновнику они в новинку. А может быть, он хитрит?

— Стихи под названием «Смерть», — отвечает Чаадаев, — равно как и прочие, тут находящиеся, сочинены известным стихотворцем Пушкиным.

— Были ли оные стихи напечатаны в России или в другом месте?

— Сколько я осведомлен, нет. Но они весьма известны в России и находились у многих в руках.

— Вы разделяете их мысли?

— Я сохранил их единственно за достоинства в лите-

ратурном смысле и не обращал никакого внимания на их содержание.

— Так, так, — говорит Колзаков ничего не выражающим голосом, — значит, внимания на содержание вы не обращали... Тут между бумагами вашими, — он опять шелестит листками, — находится рекомендательное письмо англичанина Коока к приятелю своему Марриоту, в коем он пишет, что вы приехали в Англию для исследования нравственных причин благоденствия того края, дабы ввести оные, буде возможно, в России.

— Что же вас интересует?

— Кто таков англичанин Коок и какие именно причины нравственного благоденствия предполагали вы исследовать в Англии?

— Англичанин Кук? — переспрашивает Чаадаев. — Это известный миссионер. Благоденствие Англии Кук приписывает распространенному там духу веры.

— Вы согласны были с оным Куком? — Колзаков перенимает чаадаевское произношение имени англичанина.

— Я недостаточно хорошо знаю Англию.

— Но вы поехали в Англию, чтобы перенять причины ее благоденствия для введения в России?

— Нет, — отрицает Чаадаев, — я говорил Куку о недостатке веры в высших классах населения. По сему случаю он дал мне письмо к своему приятелю.

— И что же?

— Так как Англию я вскоре покинул, то и письмо это осталось у меня, а с Куком и Марриотом никакого после того сообщения не имел и даже о них ничего не слыхал.

Не станет же он говорить этому господину, что у него, у Чаадаева, завязалась переписка с Марриотом, и именно от него он получил несколько книг, изъятых в Варшаве.

Но все же он сказал лишнее. Колзаков медленным вопросом напоминает выскользнувшие слова:

— Недостаток веры в высших классах? Не эта ли причина побуждает вас заниматься религией? Многие ваши книги касаются этой части наук.

Вопросы для Чаадаева не из легких. Он еще не во всем разобрался, а христианская литература действительно кажется ему весьма полезной для изучения людских судеб. Как объяснить это полицейскому офицеру? Да и надо ли?

Но писарь не пропускает ни одного слова. Значит, следует говорить так, чтобы интерес к религии заслонил все другое.

Кажется, это ему удастся. Как и те ответы, которые касаются масонских лож. Здесь он не покривил душой — с масонством покончено давно.

Но не странно ли, что нового царя беспокоят масоны? Однако Колзаков задает следующий вопрос, и Чаадаеву ясно: тому всюду чудятся тайные союзы.

— Не принадлежали ли вы в России или за границею к каким-либо тайным обществам?

— Ни к какому тайному обществу никогда не принадлежал, — отвечает Чаадаев.

— Не знали ли вы о существовании обществ, хотя бы сами к оным не принадлежали?

— О существовании тайных обществ в России имел сведения по общим слухам.

— Известны ли вам были лица, участвовавшие в сих обществах?

— О цели обществ и об их названиях я никакого понятия не имел и какие лица в них участвовали, не знал.

— Возможно ли, что при вашей дружбе с Николаем Тургеневым, Якушкиным, князем Трубецким вы ничего не слышали об их злоумышлении?

— Кроме дружбы, ни с Тургеневым, ни с Якушкиным, ровно как и с князем Трубецким, я никаких ни в какое время отношений не имел.

Колзаков молчит, думает, раскрывает рот:

— Так, так... Вы можете быть свободны, господин Чаадаев.

— Я могу продолжать свой вояж? — уточняет Чаадаев.

— О нет, — вдруг улыбается капитан-командор, — вам придется повременить.

— Надолго ли? — нетерпеливо спрашивает Чаадаев.

— Этого я не могу знать. Не беспокойтесь, вас известят.



«Хорошенькое дело — не беспокойтесь! — злился Чаадаев, шагая через двор казенной палаты, где снимали допрос. — Ах, не надо было мне сюда ехать!»

Прошло несколько дней. Чаадаев чувствовал себя пленником. Выехать он не мог. Встретаться было не с кем. Впереди — неизвестность. Позади — поражение друзей.

Однажды, наведавшись в канцелярию по поводу своих дел, Чаадаев услышал о том, что казнили главных зачинщиков мятежа.

Чаадаев не знал подробностей восстания. Сообщения европейских газет были путаными, с очевидцами он не говорил, не знал, в чем именно обвинили этих пятерых.

Вспомнилось, как испугался полтора года назад при известии о петербургском наводнении. Чаадаев узнал о нем в Милане и плакал, как ребенок, читая газеты. Ему тогда казалось, что разом погибли многие его друзья...

Теперь Чаадаев не плакал. Отчаяние и ужас ничем не проявились внешне. Он лишь опустил на скамью и замер.

Чиновнику, передававшему новость, ничего, наверное, и не бросилось в глаза. Этот задержанный по загадочным причинам господин вообще отличался медлительностью, чопорностью и вел себя отчужденно.

А Чаадаев сидел, глядя прямо перед собой, и долго не мог подняться.



Рылеев... Пестель... Каховский... Муравьев-Апостол... Бестужев-Рюмин...

Мишель исчез для Чаадаева в 1820 году.

После того отчаянного письма никаких известий от него не приходило. Но, стало быть, за эти пять лет он превратился из мальчика в настоящего бойца.

Как у него было в том письме? Строчка из стихотворения... «Нас настоящее страшит, коль не окрашено оно грядущим...»

С этой минуты все становилось страшным — и прошлое, и настоящее, и будущее.



Он вернулся в гостиницу больным человеком. Иван Яковлевич испугался, увидев его. Чаадаев отдал ему шляпу, трость, перчатки и попросил воды.

Зубы стучали о край кружки.

— В Петербурге повесили Каховского, — сказал Чаадаев наконец. — Ты его помнишь?

— Господи! — Иван Яковлевич перекрестился.

— Рылеева повесили. Полковника Пестеля.

Иван Яковлевич испуганно смотрел на барина.

— Сергея Муравьева-Апостола, — бесстрастно говорил Чаадаев, — Мишеля Бестужева...

— За то дело, что было в декабре? — еле слышно спросил камердинер.

— За то самое, Иван.

— Что же теперь с нами будет?

— Не знаю, Иван, не знаю...



Его продержали в Бресте до осени. В сентябре, ничего не объясняя, разрешили двигаться дальше. Полный самых мрачных предчувствий, Чаадаев въезжал в Москву...

Там неожиданно он встретился с Пушкиным.

Александр стал не так порывист в движениях, как это было раньше. В углах его глаз прятались легкие морщинки.

«А ведь он гораздо моложе меня, — подумал Чаадаев, — ему нет еще и двадцати восьми».

У Чаадаева же появились большие залысины. Лицо его показалось Пушкину тяжеловатым. Но, как и прежде, ни одна складочка его одежды не могла бы оскорбить самый придиричивый вкус. Только сейчас на нем был не мундир, а, как и на Пушкине, простой сюртук.

Они с радостью отыскивали друг в друге прежние, дорогие черточки и с настороженностью улавливали незнакомые.

Года два назад Пушкин отправил Чаадаеву стихотворение, в котором писал о себе: «...в сердце, бурями смиренном, теперь и лень и тишина...» То была дань минутному настроению, пережитому в Михайловском. Теперь Александр с невеселым чувством видел, что, кажется, сердце его

друга страдает, смиренное бурями и наступившей повсюду тишиной.

А Чаадаев заметил в Пушкине озабоченность.

Поэт рассказал о странной встрече с царем.

Пушкин признался ему в своей близости к восставшим. Царь же заявил, что прощает поэта и впредь сам станет его цензором. Впрочем, это можно было расценивать — и даже необходимо, на то и намекал царь! — как милость. Ведь ни один литератор не устаивался подобной «чести».

— Он вяжет меня по рукам и ногам, — пожаловался Пушкин. — Я предпочел бы своего прежнего цензора, Бирукова.

— Будьте хитрее. Первый раз Николай простил вам прямоту, — сказал Чаадаев, — второй раз не простит.

— Может быть... Господи, зачем мне все это? Во дворце шепчутся, ловят взгляды. Какие-то старые и молодые дураки, в лентах, в орденах... Что им всем до меня, до литературы?

— Не давайте поводов этому любителю фрунта.

— Если бы только фрунта, — покачал головой Пушкин.

Он что-то почувствовал там, в Малом Николаевском дворце, что-то его насторожило.

— Не жалеете, что оставили Европу? — неожиданно спросил Пушкин.

— Если меня арестуют, может быть, я и пожалею... Последние полгода я истосковался по Москве. Любезно мне все наше. Домишки эти, дворы, церкви. Даже пьяненькие монахи по душе, можете представить? Заехал в Донской монастырь, умилился. Вспомнил детство, как тетушка возила меня туда с братом причащаться.

— Нет, я о них без отвращения и думать не могу! Ездил ко мне один... Вы не знаете, что такое постоянный надзор.

— Пока бог миловал.

— Я помышлял о побеге.

— «Как часто по берегам твоим бродил я тихий и туманный, заветным умыслом томим»?

— Вы помните? — обрадованно отозвался Пушкин.

— Я помню все ваши стихи.

— Стихи, стихи, — вдруг вырвалось у Пушкина. — Разве можно теперь писать одни стихи?

— Почему бы и нет?

— Стихи — не то, что делали Бестужев и Рылеев.

— Стихи они тоже писали, — заметил Чаадаев.

— Нужны такие стихи, в которых сама мысль стала бы поэзией!

— Мысль не может быть поэзией.

— Отчего?

— Поэзию производит образ, музыка слова.

— Это плохо, что поэзию понимают только так.

— Я бы не хотел, чтобы новый царь понимал ее по-другому.

Они сидели в комнате недорогой гостиницы, куда Чаадаев привез и свалил на пол все свое оставшееся после таможенни богатство. Пушкин присел на корточки, стал рассматривать книги.

— Выбирайте себе на память, — щедро предложил Чаадаев, — сколько хотите.

— Одну, — остановил его своей мягкой улыбкой Пушкин. — У меня нынче своих книг тоже довольно. Если позволите, я возьму эту. Но с условием — вы сделаете надпись.

— На что вам? Я же не автор.

— Мне будет приятно видеть вашу руку.

Пушкин раскрыл том и положил его перед Чаадаевым.

Тот подумал и стал выводить своим прямым, как в рукописных книгах, почерком:

«Мозг поэта построен иначе не в смысле образования идей, а в смысле их выражения. Ведь не мысль делает человека поэтом, а ее выражение. Поэтическое вдохновение — вдохновение словом, а не мыслью. Поэтический язык — сама поэзия. Разве есть поэты в прозе? Только французы, такой несомненно прозаический народ, может вообразить, что во Франции есть поэты... Говорят, образ, образ, но образ это материал поэзии, а не поэзия, и когда он не выражен поэтически, это просто геометрическая фигура и ничего более».

Пушкин следил за тем, как Чаадаев пишет, и нетерпеливая улыбка трогала его губы.

— Мы с вами еще поспорим, — пообещал он, — и насчет поэзии, и насчет геометрии, и насчет французов.



После разговора с Пушкиным Чаадаев немного успокоился. Если никаких приказов на его счет нет и царь не зовет его пред свои очи, стало быть, Чаадаева не считают чересчур опасным. Решили, что довольно с него пограничной встряски.

Да и кто он, на самом деле? Отставной гусар, недоучившийся философ.

Впрочем, о том, что он занимается философией, никто из властей не подозревает. Книжки? У русских аристократов еще с прошлого века собраны обширные библиотеки. Даже сама Екатерина Вторая купила и привезла в Россию библиотеку Вольтера. Но это же не значит, что все владельцы библиотек упорно набираются знаний.

Словечко «упорно» заставило Чаадаева вспомнить строчки из первой главы романа, который писал Пушкин. Глава вышла отдельной книжечкой, и брат посылал ее Чаадаеву за границу.

Герой романа тоже, как и многие русские, и читать пытался, и писать, но и ему труд у п о р н ы й «был тошен». Ничего из его затей не вышло.

А вот Каховский не собирал библиотеки, Бестужев-Рюмин тоже... Он ходил к Чаадаеву и брал книги у него...

Каково будет отношение нового царя к ученым людям? Дай бог, если он, как прежде, останется привержен только к балам и фрунту.

Но Пушкина он зачем-то сразу приказал доставить к себе. Впрочем, не сразу. Сначала повесил тех, пятерых...



Из Михайловского Пушкин привез пьесу под названием «Борис Годунов» и читал ее у Дмитрия Веневитинова.

Чаадаев сначала удивился выбору Александра — в Москве было немало маститых литераторов, которые сочли бы за честь принять поэта. Но Пушкин, весело глядя на Чаадаева, пояснил, что этот юноша — истинный художник, а его суждения о литературе стоят многих журнальных статей.

После такой рекомендации Чаадаев стал внимательно приглядываться к хозяину дома. Однако внешне Веневити-

нов ничем особенно примечателен не был. Разве что голос его отличался мягкостью и какой-то сдержанной грустью.

Не он главенствовал у себя в гостиной, а два других поэта — Пушкин и еще один, поляк, Адам Мицкевич, высланный из Польши в Москву за неблагонадежность.

Получилось сразу как-то так, что Мицкевич, Веневитинов и Чаадаев заговорили о философии.

Чаадаев с отрадой убеждался, что в Москве есть люди, которые, как и он, ищут истины у философов.

Но наговориться вдоволь о Канте и Шеллинге они в тот раз не смогли. Явился последний гость, которого ждали, и Пушкин развернул свою рукопись.

Сила и красота пьесы поразили Чаадаева.

Слушая Александра, он вспоминал то далекое чтение, когда тоже воскресала история, но по-другому, а Пушкин сам находился среди слушателей.

Чаадаев помнил и те страницы карамзинской истории, которые были посвящены Борису Годунову. Там народ едва проступал как некая неясная масса, а на первом плане действовали князья и бояре.

Пушкин помогал истории заговорить по-иному.

Князь Шуйский, интриган и лицемер, учил тугодума боярина Воротынского:

Когда Борис хитрить не перестанет,
Давай народ искусно волновать,
Пускай они оставят Годунова...

Так наверняка и было в ту смутную пору. Одно лишь смущало Чаадаева: Александр придавал слишком большое значение всем этим событиям русской истории.

Любопытно, что думал по этому поводу Мицкевич? Но смуглое, ставшее строгим и неподвижным лицо Мицкевича не выдавало его мыслей и чувств.

Веневитинов, наоборот, не сдерживался. После сцены между Гришкой Отрепьевым и Пименом он нагнулся к Чаадаеву и горячо зашептал: «Это чудо, Петр Яковлевич! Правда?»

Чаадаев, не спуская глаз с чтеца, молча кивнул.



Да, было ясно, Александр вступил в зрелую пору.

Думая о Пушкине, Чаадаев не мог не размышлять и о собственной судьбе. Он понимал, что, вернувшись в Россию, начинает новую полосу жизни. Тридцать три года... Не за плечами ли первая половина жизни?

Как начинать вторую?

Многое зависело от того, что будет в стране с воцарением Николая. Впрочем, сейчас уже кое-что можно было предвидеть — пять повешенных, сто двадцать запертых в крепостях и сосланных в каторгу...

А Пушкин уехал из Москвы чуть приободренный. По крайней мере, без той тревоги, которую заметил в нем Чаадаев после встречи с царем.

Но у царя, конечно же, были какие-то особые цели, когда он на глазах у всех миловал поэта. В благородство Николая верилось плохо. Вызволив из ссылки Александра Пушкина, он в то же самое время отдал в солдаты другого поэта, Александра Полежаева.

Два эти факта сливались в нечто единое, пугавшее Чаадаева своей жестокостью и цинизмом.



Он не понимал, почему вызвали гнев царя озорные, но никак не опасные стихи Полежаева. В них весело описывались похождения студента, но не было политических выпадов.

— В чем дело? — спрашивал Чаадаев брата, который приехал повидаться с ним в Москву из деревни. — Я прочитал эту поэму вдоль и поперек. Что в ней нашел царь? Чем она опасней стихов Баркова или даже Василия Львовича Пушкина?

— Тем и опасней, что написана не Барковым и не Василием Львовичем. — Михаил, в свою очередь, удивлялся наивности или неосведомленности прибывшего из-за границы брата. — Те писали когда? А Полежаев этого своего «Сашку» сочинил в нынешнем году.

— Так что же?

— А то, что вззошедший на престол император наводит в государстве порядок, спокойствие и уважение к властям.

- Но при чем тут «Сашка»?
- При том, что он неспокоен, беспорядочен и непочтителен с начальством.
- Ты смотришь чересчур глубоко.
- Разве? — в глазах Михаила блеснул прежний, знакомый Чаадаеву по годам их юности огонек. — Вспомни пословицу: пуганая ворона и куста боится. Нынче всюду отыскивают крамолу... — Брат понизил голос, огонек в глазах потух. — У меня в деревне был с визитом Струнников. Ты его помнишь? Расспрашивал, как да что. Между прочим, интересовался, что ты пишешь из-за границы.
- Это и так, кому надо, известно.
- Вот именно, — с испугом подхватил брат, — ты уж, пожалуйста, Петр, будь осторожен в письмах.
- Постараюсь.
- Струнников видел твои книги, подивился.
- Чему?
- Неужто, спрашивает, брат все прочел?
- Что же ты ему ответил?
- Я сказал, что не все. Что большую часть ты держишь для справок, из любопытства.
- Это ты хорошо ответил.
- Благодарю. Я ведь не только для себя стараюсь.
- Да я понимаю, Миша, ты напрасно обижаешься. А этот Струнников к тебе часто заезжает?
- В том-то и дело, что нет. Приехал, представляешь, к самому обеду. Я уж за стол сел, как слышу — колокольчик.
- Отголосок давней тревоги промелькнул в голосе брата.
- Библиотеку я заберу, — пообещал Чаадаев.
- Куда? — снова заволновался брат. — Где ты намереваешься поселиться?
- В Москве.
- По-моему, тебе лучше перебраться в деревню. Мы бы с тобой отлично устроились.
- Спасибо, Миша. Я в деревне долго не выдержу.
- Почему?
- Помнишь, как у Пушкина в «Онегине» про деревенскую скуку? Это обо мне.
- Тут важна привычка.
- Возможно. Но ее-то я и не имею. У меня привычка к иному.

— Верно ли, что Пушкин Онегина с тебя списывает?

— Уж и об этом сплетничают?

— Нет, просто я сам подумал...

— Разве таких Онегиных мало? Мне, по совести сказать, больше по душе Чацкий.

— Чацкий совсем другого поля ягода.

— Но в них обоих все мы понемножку — и я, и ты, и сами их авторы...

— Ну, я-то вряд ли, — вдруг как-то смешно запротестовал брат, — какой я Чацкий? Тот все шумел. Да и Онегин...

Чаадаев не стал спорить. Михаилу виднее, кто он на самом деле. А как он живет у себя в деревне, Чаадаев тоже еще не видел. Во всяком случае, судя по его рассказу о Струнникове, не велит подавать себе коня с заднего крыльца при виде незваных гостей, как это делал Онегин.

Внешне брат, конечно, изменился. Совсем барином стал, лежебокой. Щеки дряблые, и выбрит нечисто. Не было в нем заметно и прежней заботы о костюме — сюртук и новый, и немодный, и помят изрядно. Чем он занимается в своей деревне? Не женился... И то хорошо. А может быть, плохо? Свершил бы в земном пределе все, что положено смертному. Нет, глядя на брата, Чаадаеву совсем не хотелось поселиться в деревне.

Не устраивала его и судьба тех литературных героев, которых помянул Михаил.

Онегин, впрочем, был еще неясен. Пушкин напечатал лишь вторую главу. Однако Чаадаев предугадывал судьбу этого денди, для которого *far niente*¹ являлось главным правилом жизни.

Чацкий, как верно сказал брат, был другого поля ягода — горяч, остроумен, беспощаден. «Он вольность хочет проповедать!» — так аттестовал его Фамусов, и совершенно справедливо. Он нравился Чаадаеву.

Но при всей схожести и несхожести этих героев друг с другом, они оставались там, в прошлом, за роковой чертой. А Чаадаев перешагнул этот рубеж. Оглядываясь вокруг себя и не видя рядом с собой многих дорогих ему людей, он понимал, что жизнь надо строить не так, как это могли бы

¹ Безделье, праздность (*итал.*).

подсказать Онегин или Чацкий. Все были на распутье: и он, и Пушкин, и Грибоедов, и братья Тургеневы. Все, кто пережил 14 декабря и остался на свободе.

— Тебе надо жениться, — неожиданно заявил брат.

— А ты почему до сих пор не женат?

— Да как тебе сказать? — замылся Михаил. — Хлопотно это. Жена в доме... Не знаешь, что такое... Я не тороплюсь... Всю жизнь потом...

— Не объясняй, — рассмеялся Чаадаев, — мы с тобой, видно, оба закоренелые холостяки.

— Нет, отчего же? — опять стал мямлить брат. — Я не отвергаю...

Но больше он этого разговора не возобновлял и вскоре уехал обратно в деревню.



Чаадаев снял флигель на Ново-Басманной улице у своей московской приятельницы Екатерины Гавриловны Левашевой, богатой барыни и образованной дамы.

В распоряжении Чаадаева оказался удобный теремок в глубине городской усадьбы, тихие комнаты, сад перед окнами, в котором росли березы, липы, сирень.

Сад облетал. Листья ложились шуршащим ковром на траву, на дорожки.

Чаадаев выходил сюда по утрам, бродил, слушал шорох листьев, попискиванье синиц и неясный шум, который временами доносился из города.

Иван Яковлевич любовно занимался квартирой, радуясь тому, что наконец-то барин обосновывается прочно.

Чаадаев наблюдал за жизнью Москвы.

Она ему не нравилась. В дворянском собрании — громоздкие обеды и пустые разговоры. На званных вечерах — скука и фальшь.

В гостиных никто не витийствовал. Казалось, и не было никогда ярких споров, ярких стихов, живой мысли.

Чаадаев часами просиживал у себя в кабинете. Читал, делал выписки из книг, заметки на их полях...

«Находят, что я притворяюсь, — записал он на одной из страниц книги мадам де Сталь «О Германии», — Как не

притворяться, когда живешь с бандитами и дураками? Во мне находят тщеславие. Это гримаса горя».

Все реже он появлялся в свете. Исключение делал лишь для своей милой хозяйки Екатерины Гавриловны. В ее гостиной дважды в неделю сходились притихшие московские говоруны.



Левашева отличалась строгим вкусом. Случайные люди к ней не попадали. Беседы вели всего больше о музыке, об искусстве и сами музицировали.

Левашева с чуткостью умной и сердечной женщины оценила скромность и молчаливость своего постояльца. Впрочем, очень скоро Чаадаев перестал быть для нее постояльцем, а сделался другом, которого она любила и опекала.

Ей и пришло в голову женить его.

Она по-своему справедливо рассчитывала, что семейная жизнь лучше всего смирит душевное беспокойство Чаадаева: у него появятся новые заботы, радости...

Выбор ее пал на княжну Щербатову, молоденькую барышню, дальнюю родственницу Чаадаева.

Она была какой-то дальней родственницей и Левашевой; да в Москве, наверное, все коренные дворянские семейства были друг с другом в родстве.

Катеньке Щербатовой Чаадаев очень нравился. Когда у Левашевой на этот счет рассеялись последние сомнения, она решила, что осталось открыть глаза самому Чаадаеву.

Но оказалось, что открывать ничего не надо. Этот отшельник и книжник сам все прекрасно видел.

— Какой я жених? — изумился, однако, он. — Я стар, я лыс, я скучен. Я даже танцевать разучился.

— Ну, ну, ну, — замахала на него руками Левашева, — не наговаривайте на себя. А танцевать вам вовсе не обязательно.

— Вы думаете? — серьезно спросил Чаадаев.

Екатерина Гавриловна почуяла подвох.

— Катенька — загляденье, — сказала она. — Неужели вы к ней нисколько не расположены?

— Она мне мила.

— Только-то?

— Увы, — наклонил голову Чаадаев, — я устарел для подобных историй.

Но он был неправ. Просто действительно Катенька была ему малоинтересна, как и многие другие московские ба-рышни.



На один из левашевских вечеров он, по обыкновению, пришел последним. Сел в стороне и стал слушать гостя, который играл на фортепиано.

Чаадаев отрешенно переводил взгляд с одного гостя на другого и вдруг увидел лицо удивительной одухотворенности.

Он закрыл глаза.

Чистые звуки фортепиано сулили тревогу и счастье.

Когда Чаадаев открыл глаза, незнакомка улыбнулась ему нежно, с неожиданным и непонятным для него выражением грусти и сожаления.



— Вы здесь одни? — спросил Чаадаев.

— С братом, — ответила девушка, не отрывая своих темных глаз от лица Чаадаева.

Голос ее был ласков и застенчив.

— Вы редко выезжаете...

— Я часто хвораю, — возразила она.

Чаадаев улыбнулся ободряюще:

— Это пройдет, вы так молоды.

— Мне уже двадцать два, — печально призналась она.

— Двадцать два, — повторил он, — годы юности!

— Но я все время хвораю, — опять невольно напомнила она.

— Вы прекрасны, — сказал Чаадаев.

Она с испугом посмотрела на него.

— Зачем вы так говорите?

А он чувствовал, что обыкновенный, ни к чему не обязывающий светский разговор не нужен сейчас для них обоих.

Екатерина Гавриловна, издали наблюдавшая за ними, вздохнула и отвернулась.



Дождливый октябрь сменился сухим, холодным ноябрем. Деревья облетели. Ветер уносил поблекшие листья. В лучах низкого солнца вспыхивали багрецом церковные окошки.

Церковь стояла напротив дома Левашевых.

Однажды, глядя на свадебный поезд, который подтягивался к церкви, Чаадаев подумал о том, что и он обвенчается с Дуней непременно в этом неказистом храме.

Слова любви не были произнесены, но и Чаадаеву и Дуне казалось, что они любят друг друга очень давно.

Странное, непривычное состояние владело Чаадаевым. Он с нетерпением ожидал вечеров у Левашевых и появлялся теперь в их гостиной раньше всех. Он был счастлив, когда видел Дуню, когда слышал ее голос, и всякий раз удивлялся и ее обширной, необычной для барышень начитанности и какой-то горечи, с которой она судила о прочитанном. У нее вообще был невеселый взгляд на мир, и это обстоятельство сближало ее с Чаадаевым еще больше.

В ноябре Чаадаев поехал к родителям Дуни просить ее руки, но получил неожиданный отказ. Отец ее, богатый московский барин, дал понять, что считает небогатого и нигде не служившего Чаадаева неподходящей партией.

Чаадаев вернулся домой в смятении.

После этого он еще несколько раз встречался с Дуней у Левашевых.

Если бы месяц назад ему сказали, что у него, как у романтического героя, будут такие вот встречи, он бы просто рассмеялся. А теперь он думал о том, что в мире, наверное, нет большего счастья, чем видеть рядом с собой любимое лицо, слышать любимый голос...

— Вы мне еще не рассказывали, — просила она, — как вы с ним познакомились.

— Это было сто лет назад, — теплел он от воспоминания и оттого, что может об этом рассказывать ей. — Он был тогда совсем мальчишка.

Чаадаев вспоминал лето шестнадцатого года, квартиру Карамзина и лицеиста, который читал стихи.

— Онегин и Татьяна любят друг друга? — спрашивала она.

— Не знаю. Пушкин говорил, что напечатает третью главу в будущем году.

— А вы у него не выпытывали?

— Нет.

— Они будут несчастливы, даже если и любят.

— Почему вы так думаете?

— Мне так кажется...



Через несколько дней в зале опекунского совета, куда Чаадаев наведалься по своим денежным делам, к нему подошел брат Дуни и без всяких предисловий потребовал:

— Господин Чаадаев, вы должны прекратить встречи с сестрой.

Как можно миролюбивее Чаадаев сказал:

— Дуня моя невеста...

— Я не слышал, чтобы вы были помолвлены, — оборвал его молодой человек.

— Услышите.

— Мне это неизвестно! — У Дуниного брата, наверное, были какие-то свои причины не оставлять враждебного тона. — Вы должны прекратить встречи!

— Это невозможно, — учтиво, холодно ответил Чаадаев.

— Так я вас заставлю!

— Каким образом?

— А вот таким! — И брат, размахнувшись, хотел ударить Чаадаева по лицу, но Чаадаев перехватил руку.

Потом он повернулся, чтобы пойти прочь, но его остановил еще один выкрик:

— Я буду с вами стреляться!
— Но я не буду.
— Вы не имеете права!
— О каком праве вы говорите? — со спокойной, но жесткой усмешкой взглянул Чаадаев на взбешенного молодого человека. — Я не собираюсь тешить вашу прихоть. А брань пусть останется на вашей совести. Я с вами ни браниться, ни драться не намерен.



На другой день Дуня спрашивала со слезами:

— У вас будет дуэль?
— Нет, Дуняша, не будет.
— Вы не хотите стреляться, потому что он мой брат?
— Нет, не поэтому...

Чаадаев не стал ей объяснять, что еще давно принял решение никогда, ни при каких обстоятельствах не участвовать в дуэлях.

Это было еще до Семеновской истории... Стрелялся его приятель, граф Ланской. Красавец, умный, добрый, единственный сын... Его все любили. Но даже если бы он и не имел несомненных достоинств — он был молод, у него остались родители, невеста, друзья... А убит он был наповал, с одного выстрела и — по глупейшему поводу: какой-то вздорный случай на балу, минутная ссора, которую не так уж трудно было уладить, возмись за это всерьез его приятели.

Чаадаев винил тогда и себя. Он не мог простить себе того, что стоял зрителем и ничего не сделал для предотвращения поединка.

Противники сошлись на ярком мартовском снегу, и один из них упал лицом в снег.

Во имя чего?! Что он доказал своей смертью? Чего добился? Может быть, того, что свидетели этого убийства содрогнулись? Подумали о бессмысленной жестокости? Но не слишком ли дорога плата за подобный урок?

С тех пор прошло много лет, но Чаадаев не мог спокойно вспоминать об этом. Ни одна смерть на войне не производила на него такого тяжелого впечатления...

— Нам надо обвенчаться, — сказал он мягко, стараясь прогнать воспоминания.

— Я сама об этом думаю, — ответила Дуня. — Я даже готова послушаться родителей. Но давайте подождем... Мне надо отдохнуть...



Еще через несколько дней во флигель к Чаадаеву явилась тетушка.

По лицу Анны Михайловны Чаадаев догадался, что серьезные причины заставили ее тронуться из деревни и что он, племянник, имел несчастье чем-то весьма огорчить ее.

— Живешь, как библиотекарь, — ворчала она, — мне Миша сказывал, да я не чаяла, что такая прорва книг. Оттого, дружок, и жизни живой не видишь.

— Вы о чем, тетушка? — почтительно спросил Чаадаев.

— О сумасбродстве твоём, о женитьбе.

— Что в этом плохого? Вы же сами меня уговаривали.

— Уговаривала, — кивнула старушка, — и сейчас буду уговаривать. А то вовсе прокиснешь со своими книгами.

— Я вас не понимаю.

— Сейчас поймешь. Ты на ком собираешься жениться?

— На Евдокии Сергеевне Норовой.

— Вот-вот. Стало быть, мне все верно докладывали.

— Чем же она вам не нравится?

— Ах, Петя, Петя, ну почему у тебя все не как у людей? Ну зачем ты ее мучаешь и себя покою лишил?

— Да в чем дело? Скажете вы наконец!

— Сам-то не видишь? Больна Дуняша...

— Да, я знаю, — пробормотал Чаадаев, — но она поправится.

— Не поправится. Разве ты не видишь, что она, как свечка, светится?

— Вижу... Но, может быть, за то она мне и милее всех.

— Ты о себе только и помышляешь. Нельзя ей за тебя замуж.

— За меня?

— За тебя, за другого ли, один разговор. Доктора сказывали родителям. Слаба она очень. Замужество убьет ее. Рожать ей нельзя.

— Разве непременно надо рожать? — машинально сказал Чаадаев.

— Зачем тогда семья? — сурово спросила Анна Михайловна. — Семья — это дети, продолжение рода.

— Погодите, Анна Михайловна, — попросил Чаадаев, — погодите...

— Ничего не поделаешь, Петруша, — мягко, как бывало в детстве, когда она утешала его, сказала Анна Михайловна. — Такая, значит, у вас судьба...



Но даже Анна Михайловна не подозревала, что дни Дуныши сочтены.

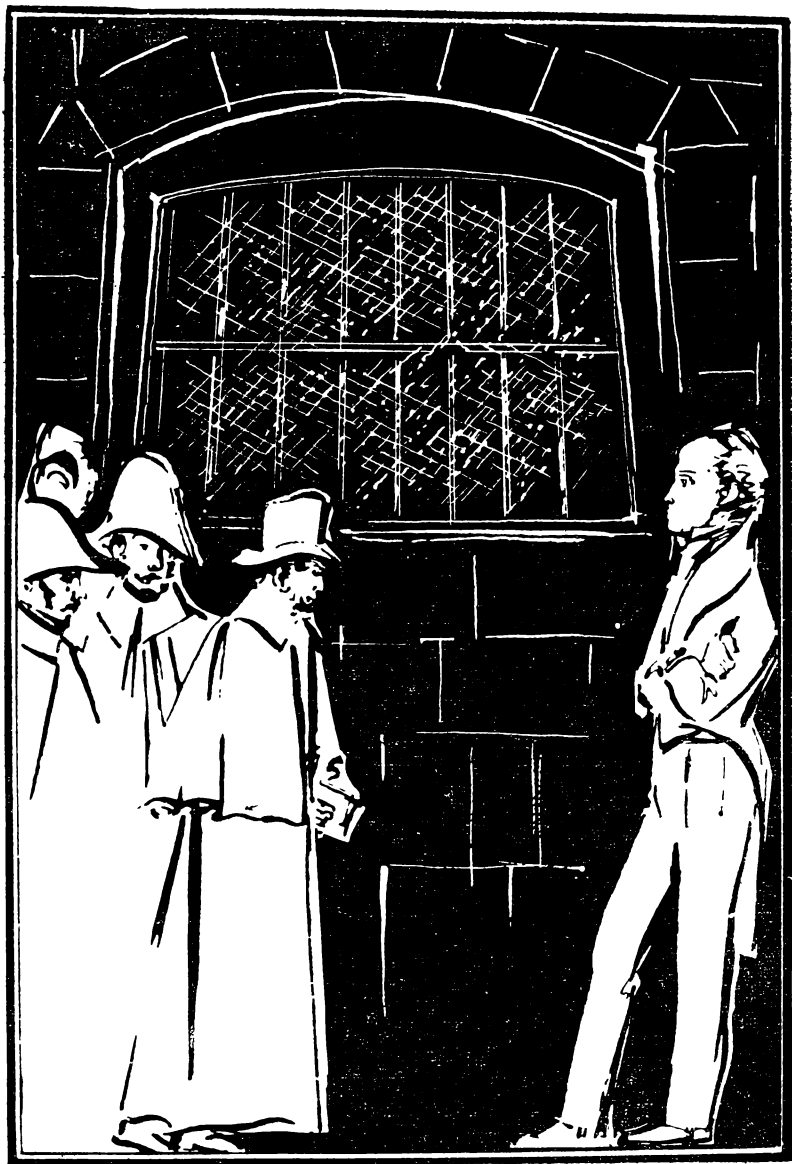
Она умерла внезапно, когда Чаадаев все подготовил для того, чтобы обвенчаться с ней тайно в одной из деревенских церквей под Москвой.

Хоронили ее в Донском монастыре зимним днем.

Народу было немного — родные, подруги...

Брат Дуни подошел к Чаадаеву, посмотрел на него молча. Запоздалое раскаянье можно было прочитать в его взгляде, но какое это теперь имело значение?





*Созреет плод сей муки тайной
И слово сильное случайно
В неожиданном пламени речей
Из груди вырвется твоей...*

Д. В. Веневитинов



О тныне даже московские знакомые годами не видели Чаадаева. Он за-творился у себя во флигеле и никуда не выходил, гуляя лишь рано поутру да вечером и выбирая для этого глухие улочки или пустынные берега Москвы-реки.

Порою возникали слухи, будто он умер или уехал в Аравию. Мало кто в эти годы знал, чем он занят и как живет. Лишь в опекуновом совете догадывались, что отставному ротмистру приходится туго. В 1827 году он занял в совете шестьдесят одну тысячу рублей, в следующем — тридцать, еще через год — пятнадцать тысяч двести пятьдесят.

Среди его немногих близких друзей оставался Пушкин, который в каждый свой приезд в Москву навещал Чаадаева.

Пушкин по-прежнему вызывал у него ревнивую тревогу. Чаадаев беспокоился, видя его вновь в водовороте столичной суеты.

«Мое пламеннейшее желание, друг мой, — писал он Пушкину, — видеть вас посвященным в тайну времени... Когда видишь, что тот, кто должен был бы властвовать над умами, сам отдается во власть привычкам и рутинам черни, чувствуешь самого себя остановленным в своем движении вперед... Это поистине бывает со мной всякий раз, как я думаю о вас, а думаю я о вас столь часто, что совсем измучился... Я убежден, что вы можете принести бесконечное благо этой бедной России, заблудившейся на земле. Не обманите вашей судьбы, мой друг».

На память приходили европейские скальды и барды, которых слушали не только ради развлечения. Эти своеобраз-

ные мыслители и поэты подчиняли себе огромные массы людей... Вспоминался старый спор с Пушкиным о присутствии мысли в поэзии... Его последние стихотворения подавали надежду на то, что первым таким поэтом в России может стать именно он, Александр Пушкин.

Лишившись единственной любви, Чаадаев отдавал этой трудной и беспокойной дружбе почти все свои душевные силы.

Стихи Пушкина были прекрасны. Они напоминали о том, как читала их она. А некоторые, написанные уже после ее смерти, казались прямо посвященными ей.

Дуня была права — счастливого конца в романе Пушкина не получилось. Печальной складывалась русская жизнь. Каждый год приносил несчастья. В двадцать седьмом, переехав в Петербург, заболел и скончался Веневитинов. В двадцать девятом был убит Грибоедов...

Известие о его смерти привез с Кавказа Пушкин.

Он вел дневник во время своего путешествия в Арзрум и, появившись в Москве, читал из него вслух отрывки.

О Грибоедове он написал: «Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна».

— Смерть всегда смерть, — не согласился Чаадаев. — Грибоедов не успел сделать всего, что хотел.

— Мы вчуже судили о нем и многого поныне не знаем, — задумчиво произнес Пушкин. — Даже сейчас, после смерти.

— В этом тоже наша беда. Мы не хотим или не успеваем о себе рассказать.

Чаадаев вспоминал строгое лицо Грибоедова, но почему-то никак не мог сосредоточиться на каком-нибудь одном его выражении; лицо это ускользало от Чаадаева.

Страшен был рассказ Пушкина о том, как обезображенное тело Грибоедова узнали только по руке, простреленной в давние годы пулей.

Зачем Пушкина занесло в тот край? Для чего было рисковать и подставлять себя под пули? Граф Паскевич подарил ему на память турецкую саблю... Из простой вежливости главнокомандующий не стал бы делать такого подарка. А Пушкин рад этой сабле, как ребенок...

Судьба русских людей — солдат, офицеров, чиновников, судьба Ермолова и самого Пушкина, жаждавшего впечатлений и активной деятельности, — все это крупно рисовалось перед Чаадаевым, когда он слушал чтение друга.

Пушкин открывался новой стороной своего дарования.

Казалось бы, что могло быть значительней его романа в стихах, поэм «Цыгане» и «Полтава»? Однако беглые (как назвал их сам Пушкин) путевые заметки при пушкинском требовательном взгляде на мир давали обширную, исполненную глубокого смысла картину русской жизни — тем более выразительную, что возникала она в сопоставлении с жизнью Кавказа...

— А как ваши занятия? — спросил Пушкин. — Вы давно мне ничего не рассказывали, Петр Яковлевич.

— Да что рассказывать? — неохотно ответил Чаадаев. — Пишу. Да, писать-то, оказывается, не шуточное дело. Теперь и я это понимаю.



Рукопись его подвигалась. Чаадаев был доволен, что нашел верный тон. Это были письма. В них, особенно в начале первого письма, слышался диалог, который был до конца понятен только ему и той, кому эти письма адресовались. Но это нисколько не мешало основному замыслу — а он состоял в том, чтобы искренне и подробно изложить свой взгляд на историю, на историю России в особенности, на философию истории.

Чаадаев обращался к женщине, которая — как и многие ее соотечественники — с тоской смотрела на несовершенство жизни. Чаадаев не обнадеживал, но по мере сил старался объяснить смысл прошедшего, настоящего и будущего. Форма писем давала возможность беседовать непринужденно.

А началось все случайно. Если можно назвать случайностью, например, то, что копившаяся годами снежная масса не выдерживает своей тяжести и срывается со склона. Толчком же послужить может все что угодно: далекий звук выстрела, неосторожно брошенный камень, севшая на гребень горы птица.

Чаадаев встретил свою собеседницу года через три после смерти Дуни, на одном из вечеров у Левашевой. Он избегал новых знакомств, но тут что-то заставило его изменить привычке. То ли скорбь в глазах, то ли необычный в устах светской женщины разговор о высшем смысле жизни.

Так или иначе, они разговорились. Чаадаев почувствовал, что ему не только хочется помочь ей, но что он может это сделать. Оказалось, что многое в истории человечества, ясное ему, ей совершенно в новинку. Она слушала его, как проповедника.

Проговорили они целый вечер, а расставаясь, почувствовали, что вскоре надо непременно встретиться еще.

У Чаадаева не было к ней другого чувства, кроме дружеского участия. Что касается ее, то все, возможно, было гораздо сложнее.

Чаадаев привлек свою собеседницу и серьезным отношением к ее духовным запросам, и тем, что так резко отличался от заурядных представителей московского дворянства, а в особенности от мужа — картежника и грубияна.

Она, конечно, знала историю Чаадаева и Дуни Норовой. Ни за что на свете она бы не посягнула на память этой печальной любви. Екатерина Дмитриевна Панова безропотно несла свой тяжкий семейный крест и была благодарна судьбе за то, что та подарила ей дружбу такого человека.

Чаадаев же после нескольких бесед с ней понял, что ему необходимо выразить свои мысли не устно, а на бумаге. Разговоры с молодой женщиной убеждали в том, что его взгляд на мир будет небесполезным для тех, кто, как и она, мучительно ищет истину.



Он писал увлеченно. Мысли выстраивались в строго продуманный ряд. История России и Европы изображалась им одновременно. Но вот единства между Россией и Европой он признавать не хотел, видя в этом одну из главных бед своей страны.

Россия стояла между Востоком и Западом, упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, но не совмещала в себе духовные начала этих антиподов. Исторический опыт

для России не существовал, целые столетия протекли без пользы для русских.

«Одиноким в мире, — с горечью, заблуждаясь, писал он, — мы ничего не дали миру, ничему не научили его: мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума... С первой минуты нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь».

Он имел в виду влияние византийской церкви на жизнь и государственный уклад Древней Руси. Чаадаев отмечал пагубность этого влияния и ошибочно полагал, что именно обособленность русской церкви от европейской сыграла роковую роль во всей истории его страны.



В один из приездов Пушкина в Москву Чаадаев прочитал ему некоторые отрывки.

Пушкин пришел оживленный, но когда выслушал Чаадаева, нахмурился и долгим взглядом посмотрел на друга:

— Неужели наша история способна внушить лишь такое?

— Она слишком ничтожна, — ответил Чаадаев. — Ваш «Годунов» это хорошо доказывает.

— Годунов, Иван Грозный — разве это ничтожно? — возразил с решительностью Пушкин. — Может быть, Европе до них мало дела, но это наша история. А Петр Великий? Тут уж и Европа не отмахнется! Это величие России. Он один — всемирная история! Нет, Петр Яковлевич, вы слишком мрачно глядите на наше прошлое.

— Ничего не могу поделать, — признался Чаадаев. — Вы говорите о величии... Да нас замечают только потому, что мы раскинулись от Берингова пролива до Одера. Мудрено проглядеть. Но даже та страница, что нам отвели в исто-

рии, написана не нами, а монголами. Вернее, нами при помощи монголов. Разве Европа заметила бы нас, не пройдись по нашей стране дикие орды?

— Я об этом сужу иначе. Россия поглотила нашествие татар. Одно это возвышает нас над всем христианским миром. Да, эти триста лет нам жилось несладко...

— Они помогли нашему падению.

— Нет, указали на нашу особую роль!

— Отчего же мы теперь прозябаем в такой несчастной юдоли?

— Но не потому же, что по нашему телу колесом проехало нашествие, а еще раньше мы отошли от западного христианства!

— Последнее — одна из главных причин.

— Мне кажется, Петр Яковлевич, вы вообще преувеличиваете значение церкви. — Пушкин подошел к Чаадаеву, обнял его за плечи и прижался своей пушистой щекой к его лицу. — Я нынче тоже склонен ее полюбить. Но не ту, о которой пишете вы, не римско-католическую, — глаза Пушкина смеялись, — а простую московскую церквуху, в которой меня обвенчают.

— Вы женитесь? — изумился Чаадаев.

— Представьте.

— Кто же ваша невеста?

— Натали Гончарова.

— Поздравляю. Выбрали вы первую красавицу Москвы и самую безалаберную тещу.

— Добавьте: приданого за женой я, пожалуй, не получу вовсе, а мое состояние вы знаете... К тому же мать невесты опасается иметь зятем человека, который не в чести у царя. Все это не очень-то утешно. Вы легко можете представить, каково приходится счастливому жениху.

— Но вы и впрямь счастливый жених. Я теперь вижу.

— Ах, Петр Яковлевич, вы правы! Я совсем потерял голову. Я влюблен в свою невесту, как никогда ни в кого влюблен еще не был.

— Охотно верю, — не мог не улыбнуться Чаадаев. — А она? Она вас любит?

— Сейчас она покойна, — погрустнел Пушкин, однако тут же прогнал грусть, — но она меня полюбит! Всею своею жизнью. Она ведь так еще молода!

— Дай бог... У нее доброе сердце?

— Она добра и умна, поверьте. Я ее люблю и, если не женюсь...

— Вы женитесь, — сказал печально Чаадаев. — Но мне больше по сердцу видеть вас холостяком.

— Это невозможно.

— А раз невозможно, то желаю вам скорее сыграть свадьбу.



Но свадьба неожиданно отодвинулась на несколько месяцев. Пушкин поехал в нижегородское имение, которое выделил ему отец, и там застрял: Москву осадила холера.

Чаадаев заперся у себя во флигеле.

После спора с Пушкиным он решил прояснить отдельные места своего сочинения. Пушкин его не переубедил. Наоборот, заставил еще резче высказаться о том, что основная беда России состояла в отходе от тех идей, которыми на протяжении многих веков жила остальная Европа.

Он, конечно, отдавал себе отчет в том, что далеко не все в европейских странах было продиктовано разумом и добродетелью. Но там все же существовало, как он склонен был думать, духовное единство — тот стержень, который давал прочность всему обществу.

Россия об этом пока только мечтала. Ей не хватало такого стержня.

Слишком глубоко современная гнусность уходила корнями в прошлое, чтобы он мог отказаться от своих идей даже после той критики, которую выслушал. Да и что Пушкин предложил взамен? У него своя позиция — художника. Его больше занимают лица, характеры, отдельные судьбы. Так и должно быть. Он поэт.

Но ведь есть еще и другой подход. Философия ищет общего смысла, общей теоремы.

Пушкин говорил о Петре... Но при всей своей гениальности этот царь не смог искоренить наших недостатков. Они не исчезли с бритьем бород и переменной одежды.

Кроме того, как убежден был Чаадаев, Пушкин недооценивал роль христианства в истории Европы и России.

Вспоминались разговоры с ним и эта его озорная, свято-

татственная поэма «Гавриилиада»... Вспоминались его стихи, посвященные античности. Именно там Пушкин часто черпал образы. А что дала людям античность? Сократ завещал лишь малодушное сомнение. Гомер был развратителем, создателем жестоких и соблазнительных картин, виновником необузданного пристрастия к земному для многих последующих художников.

Об этом надо было написать резче и определенной.

Чаадаев усаживался за стол и переделывал уже написанные страницы.

Он не останавливался ни перед чем, дабы утвердить в сердцах своих современников истинную нравственность — оправдывал все, что несло с собой на протяжении восемнадцати веков западное христианство, изничтожал рабский дух православной церкви. А заодно «свергал» и античность.

«Я думаю, — писал он в запальчивости, предрекая в будущем суд над всем, что считал историческими предрассудками и ложными авторитетами, — что одна огромная слава, слава Греции, померкла бы тогда почти совсем; я думаю, что наступит день, когда нравственная мысль не иначе, как со священной печалью, будет останавливаться перед этой страной обольщения и ошибок, откуда гений обмана так долго распространял по всей остальной земле соблазн и ложь...»

Пушкин заставил его еще раз взглянуться в будущее России и задуматься над тем, что даст потомкам нынешнее поколение. Ответ Чаадаева был неутешителен. Современники могли обвинить его во многих смертных грехах, и прежде всего в том, что он выражал неверие в их творческую силу, неуважение к делам их рук и ума. Но что поделаешь, когда он не видел глубокого смысла в их деятельности!

Пушкин? Еще два или три имени, для которых Чаадаев делал исключение? Они не исправляли общего положения. Как не мог оправдать всей русской истории один Петр, что бы ни говорил о нем Пушкин.



Чаадаев хотел знать его мнение обо всем написанном. Ему первому собирался он вручить свой труд. Но до лета

об этом нечего было и думать: Пушкин как одержимый крутился в своих новых хлопотах.

Писал ли он сам что-нибудь в это время? За три осенних месяца в карантине Пушкин успел создать много произведений, одно другого лучше. А после? Сначала захватила его предсвадебная суета, потом — свадьба...

Выйдя из своего затворничества, Чаадаев часто видел его тогда в свете. Не до сочинений, не до уединения было Александру. Он воспринимал жизнь по-новому. Как и прежде, жадно, но все на людях, с людьми, с молодой женой.

Их венчали в январе.

Чаадаев стоял в церкви, с толпой приглашенных, смотрел на счастливое лицо друга, но не мог заставить себя радоваться, как должен был бы, наверное... Невольно приходили в голову мысли о том, что жизнь Пушкина еще более осложнится, что эта жизнь отныне будет зависеть от красавицы жены... Вспомнилось, как однажды перед левашевским вечером случайно встретился с Дуней на улице возле дома, и они не поднялись сразу в дом, а, не сговариваясь, вошли в открытую церковь.

Там тогда тоже совершался обряд венчания.

Дуня взяла Чаадаева за руку и повела поближе к налою.

Народ в церковь набился небогатый. Женился, скорее всего, чиновник — молоденький, невзрачный, но, судя по выражению лица, очень счастливый. Невеста была, как все невесты, привлекательна и тиха.

Священник водил их вокруг наложия и произносил торжественные, непеременимые для данного случая слова.

Дуня и Чаадаев простояли всю свадьбу, а когда выходили из церкви, Дуня сказала:

— Это было наше венчание.

Тогда эти слова показались ему странной шуткой...

Чаадаевскую рукопись Пушкин увез в Петербург и, как того опасался Чаадаев, исчез там с ней, долго не отвечая на его отчаянные призывы.



«Что же, мой друг, что случилось с моей рукописью? — спрашивал Чаадаев, жалея, что не переписал для себя вто-

рого экземпляра. — От вас нет вестей с самого дня вашего отъезда... Я окончил, мой друг, все, что имел сделать, сказал все, что имел сказать: мне не терпится иметь все это под рукою».

Расставшись с поэтом, Чаадаев вновь почувствовал острую тягу к нему. Так было всегда. Сейчас это чувство было болезненнее, чем обычно, потому что мысль о молодой красавице не оставляла Чаадаева ни на минуту.

«Это — несчастье, мой друг, — писал он Пушкину, — что нам не пришлось в жизни сойтись ближе с вами. Я продолжаю думать, что нам суждено было идти вместе, и что из этого впоследствии бы нечто полезное и для нас и для других».

Но Пушкин на это письмо почему-то не ответил. А может быть не получил его? Чаадаев снова написал в Петербург.

«Ну, что же, мой друг, куда вы девали мою рукопись? Холера ее забрала, что ли? Но слышно, что холера к вам не заходила. Может быть, она сбежала куда-нибудь?.. — И опять не мог оставить своих мыслей об отношении к его творчеству, о будущем Европы и России: — О, как желал бы я иметь власть вызвать сразу все силы вашего поэтического существа! Как желал бы я извлечь из него, уже теперь, все то, что, как я знаю, скрывается в нем... смутное сознание говорит мне, что скоро придет человек, имеющий принести нам истину времени. Быть может, на первых порах это будет нечто, подобное той политической религии, которую в настоящее время проповедует С. Симон в Париже... Почему бы и не так? Не все ли равно, так или иначе будет пущено в ход движение, имеющее завершить судьбы рода человеческого?»



Его прогулки по Москве стали продолжительнее. Теперь Чаадаев находил удовольствие в том, чтобы бродить по людным улицам, вглядываться в лица, вслушиваться в обрывки разговоров, а то и понаблюдать от начала до конца за какой-нибудь трогательной или смешной уличной сценой.

Цокали подковы лошадей. Бренчали шпоры военных.

В говор и шум города то грустно, то весело вплетали свой голос шарманки.

Он полюбил шарманщиков, этих печальных разносчиков радости. Они приносили ему привет из прошлого: мелодия немецкой или неаполитанской песенки воскрешала в памяти Мюнхен, Венецию, Рим...

С каждой прогулки Чаадаев приносил домой книги. В лавке для него всегда приберегали то новинку, то какую-нибудь редкость, отпечатанную в давние годы.

Он радовался этим покупкам. Книги были его друзьями, собеседниками, спорщиками.

В споре со многими из них рождались его мысли, которые он откровенно изложил на страницах своей рукописи и с которыми сейчас в Петербурге должен был знакомиться Пушкин.



Наконец пришел ответ.

«Ваша рукопись все еще у меня... — сообщал Пушкин. — Я только что перечел ее... Все, что является портретом или картиной, сделано широко, блестяще, величественно. Ваше понимание истории для меня совершенно ново, и я не всегда могу согласиться с вами... Не понимаю, почему яркое и наивное изображение политеизма возмущает вас в Гомере. Помимо его поэтических достоинств, это, по вашему собственному признанию, великий исторический памятник. Разве то, что есть кровавого в Илиаде, не встречается также и в Библии?.. Я плохо излагаю свои мысли, но вы поймете меня. Пишите мне, друг мой, даже если бы вам пришлось бранить меня».



Да, это было несчастье, что они жили вдали друг от друга.

В Москве на каждого умного была тысяча глупцов. Не-

мудрено, что покойный Грибоедов заставил своего героя бежать опрометью из этой Москвы. А что было делать Чаадаеву? Окончив свои «Письма» и не имея больше дела, поглощавшего все его время, он вновь стал выезжать в свет. Чаадаев с удовольствием бы опять предпринял путешествие за границу, но у него не было на это денег.

Один знакомый дал ему совет, как поправить денежные дела: «Поступайте на службу. Нынче все служат. Напомните о себе — можно получить выгодную должность».

Сначала Чаадаев отверг это. Но шли месяцы, а доходы все уменьшались. То ли проценты по закладным съедали больше, чем он рассчитывал, то ли цены росли. Брат посоветовал отказаться от лошадей и поменять квартиру. Чаадаев не согласился. Лошади оставались единственной его утехой, а к квартире на Басманной он привык.

В 1833 году он обратился к генералу Васильчикову, который посетил Москву, с просьбой хлопотать о возвращении на службу.

Сделал это Чаадаев скрепя сердце, но Васильчиков неожиданно для Чаадаева охотно откликнулся на его просьбу. Генерал (он к этому времени успел получить графское достоинство) решил проявить милость к своему бывшему адъютанту, тем более, что обида, нанесенная его отставкой, успела за эти годы утихнуть...

Перед Васильчиковым стоял сорокалетний человек, с гладким, без единой морщинки лбом, с резкими складками в углах рта. Он смотрел на генерала прямо, почтительно, но — как и в прежние годы — без всякого заискивания.

Васильчиков вспомнил, с какой безупречностью выполнял когда-то Чаадаев его поручения.

Кем бы он теперь был — полковником, генералом? Скорее всего, генералом. Ведь, помнится, полковничье звание следовало ему в том же злополучном, двадцать первом году. Да, многовато упустил бывший адъютант, многовато...

— Каким чином вы вышли? — попросил напомнить Васильчиков.

— Капитаном гвардии, — ответил Чаадаев.

— Что же вы намерены просить?

— Гражданской должности, ваше сиятельство. Однако за отсутствием навыка я прошу вас ходатайствовать о предоставлении мне дипломатического поста.

— Именно? — поднял брови Васильчиков.

Чаадаев опять удивлял его. Проситься по дипломатическому ведомству, не совершая дерзости, мог лишь тот, у кого имелись заслуги перед правительством. Или надо было обладать высокими связями, родством. Судя по тому, что отставной ротмистр обратился к нему, он не знал других лиц, которые могли бы замолвить за него словечко.

Но Чаадаев глядел кротко, без вызова, и Васильчиков подумал, что этот неисправимый чудаков попросту не знает, каково даются по нынешним временам должности, да еще по дипломатической части.

— Я бы желал предложить свои услуги в качестве секретаря посольства во Франции или Германии, — пояснил Чаадаев.

— Чем объяснить выбор этих стран? — все более изумлялся Васильчиков.

— Я жил там подолгу. Мне кажется, я мог бы пристально следить за движением умов во Франции и Германии. На дипломатическом поприще лучше всего можно использовать плоды моих научных занятий.

— Ежели откажут вам по иностранному ведомству?

— Я буду счастлив подчиниться любому решению.

«Знаю, как ты умеешь подчиняться», — подумал генерал, но решил похлопотать. Что ему стоит? Два слова Бенкендорфу — и если тот не взбеленится от подобной выходки неизвестного капитана, то — чем черт не шутит? — может быть, тому и улыбнется фортуна.



Но фортуна не улыбнулась.

У графа Бенкендорфа была хорошая память. Он держал в голове всех, кто хоть ненароком задел был следствием по делу четырнадцатого декабря. А по поводу новоявленного претендента на секретарскую должность были посланы в свое время особые донесения его императорскому величеству от великого князя Константина из Польши...

Отставной ротмистр, не служивший нигде вот уже двенадцать лет, был, конечно, для Бенкендорфа мелкой сошкой. Но он близко соприкасался с важными государствен-

ными преступниками да и сам, судя по всему, являлся не очень-то благонадежной личностью. И как таковая личность представлял собой для начальника Третьего отделения царской канцелярии немалый интерес.

Не было поэтому ничего удивительного в том, что Бенкендорф доложил о просьбе Чаадаева самому царю. А царь не отмахнулся, он даже выразил любопытство: с чего бы это вдруг затворник и гордец стал проситься обратно на службу? Бенкендорф предположил: оттого, наверное, что поизжился; вот и ищет места, чтобы поправить свои финансовые дела. «Так при чем тут ведомство иностранных дел? — отечески удивился царь. — Определите его в министерство финансов». Бенкендорф, не помедлив, распорядился передать волю царя Чаадаеву.

Тот растерялся, расстроился, вознегодовал. Забыв о том, кто он и кто тот, от кого исходило нелепое распоряжение, он обратился к самому Николаю.

«Я, государь, — писал он сдержанно, — мог бы явить на этом поприще лишь непригодность человека, все научные занятия которого в прошлом связаны были с предметами, чуждыми этой области».

И так как почувствовал, что рассчитывать на дипломатическую карьеру нечего, предложил свои услуги в деле народного просвещения.

Письмо это он отослал Бенкендорфу с покорнейшей просьбой передать царю.

Бенкендорф, разумеется, ничего царю передавать не стал. Просителю же ответили в том смысле, что для его же пользы письмо государю императору не вручено.

Но Чаадаев не унялся. Он все еще не понимал, с кем имеет дело, и попытался убедить Бенкендорфа в том, чтобы тот прочитал его письмо к царю. Ответа на это обращение Чаадаева к шефу жандармов не последовало.

На том дело и заглохло, оставив в душе Чаадаева горький осадок недоумения и обиды.

Никому бы он не признался в своих чувствах; долго не мог прийти в себя. Потом решил на несколько дней уехать в деревню к брату.



Дорога бежала среди полей и перелесков. Звенели жаворонки. В высоком небе недвижно стояли белые, легкие облака. Впереди, слева от дороги, на далеком косогоре, скрытая наполовину деревьями, виднелась церковь. Купола ее ярко синели, а колокольня возвышалась чуть поодаль ослепительно белым шатром.

«Сейчас должны звонить», — подумал Чаадаев, и в самом деле оттуда, с вершины косогора, поплыли звуки благовеста.

Нежаркий день, резвый бег лошади, просторный вид и эти с детства знакомые звуки успокаивали Чаадаева, заглушали обиду.

Лошадь вдруг сбилась с ровного аллюра и захромала. Чаадаев остановил дрожки, которыми правил сам, спрыгнул на землю и первым делом осмотрел копыта. Так и есть — одна подкова еле держалась. Надо было оторвать ее — по мягкой обочине за оставшиеся версты копыта не собьешь, но за деревьями, рядом с дорогой, он увидел кузницу. Двери ее были распахнуты. Из трубы тянулся дымок.

Чаадаев остановился напротив дверей, заслонив свет. Человек у горна повернулся, и стало видно его лицо — немолдое, загорелое, с русой, коротко подстриженной бородой. Одет он был в холщовую рубаху и такие же порты.

— Здравствуй, отец, — сказал Чаадаев.

— С добрым здравием, ваше благородие, — мужик вышел наружу, — кобыла, что ль, расковалась?

Чаадаев кивнул.

Кузнец быстро и ловко сделал свое дело. Ласково хлопнул коня по крупу.

Чаадаев пошарил в кошельке, но, кроме золотых, других денег не нашел и протянул кузнецу золотой.

Тот, прищурившись, поглядел на монету!

— За такие деньги можно полк подковать.

— Вот и чудесно! — весело подхватил Чаадаев.

Очень уж хорошо было ему здесь, на высоком месте, на ветерке и солнце; и сам кузнец ему понравился — такой ладный, с достоинством в жестах и голосе.

— В другой раз привезете, — улыбнулся кузнец.

— Я не хочу, чтобы ты делал задаром!

— Э, милый человек, — покачал головой кузнец, — вы, видать, барин добрый. Не бойтесь мне не заплатить. Ваша недоплата пустяк!

Чаадаеву почудилась какая-то недоговоренность. Можно было поклясться, глядя в непроницаемо ясные глаза кузнеца, что он имеет в этом разговоре какую-то свою, особую цель, что он даже обрадовался, когда у проезжего барина не оказалось медных денег.

— Ну, ладно, — спрятал золотой Чаадаев, — я свой долг не забуду.

— Счастливой дороги! — Кузнец проводил глазами покотившие прочь дрожки и не спеша скрылся в кузнице.

«Пренебречь! — решительно стал думать Чаадаев. — Пренебречь царскими милостями! Как я мог сорваться? Захотел продать свою независимость... Разве мне так уж плохо? Разве плохо просто жить на этом свете? Ездить по этим дорогам? Видеть эти поля, деревья, небо? Глупец!»



На подъезде к деревне он подвязал колокольчик; но все равно, когда дрожки остановились перед домом, увидел в окне испуганное лицо брата.

Оглядывая комнаты с пыльной мебелью, давно немытые окна, поблекшие обои, Чаадаев невольно вспоминал презрительные строчки Пушкина: «Он в том покое поселился, где деревенский старожил лет сорок с ключницей бранился, в окно смотрел и мух давил».

— Ну, что подавать? — суетливо, радостно спрашивал брат. — У меня в этом году наливочки отменные.

— Да мне все равно, — устало ответил Чаадаев.

— Что ты, Петя? Не узнаю. Да ты у меня разойдешься, как попробуешь. Марфа! — закричал он громко и, когда в дверях показалась румяная молодуха, приказал: — Собери-ка нам с братцем на веранде. — Поймав взгляд Петра, он смущенно потер руки. — Она у меня главная колдунья по наливкам. И по грибкам, и по прочему...

— Понятно, — отозвался Чаадаев.

— Ты не понимаешь деревенской жизни...

— Я всей нашей жизни не понимаю.

— Надо меньше мудрить.

— Вроде тебя? Ты помнишь хотя бы, в каком году мы живем?

— Помню, — обиделся брат. — Мы в деревне тоже кое-чего смекаем. Вот, изволь, — он показал на стол, — журналы самые последние, книги.

Чаадаев взял одну.

— Ты читал? — оживившись, спросил брат.

— Читал, — без особого энтузиазма ответил Чаадаев, — не у каждого достанет сил так смеяться.

Это были «Вечера на хуторе близ Диканьки» писателя Гоголя.

— Не все же слезы лить, — заметил брат. — Ты, говорят, тоже чего-то написал.

— Написал.

— Будешь печатать?

— Посмотрю.

— Мне сначала покажи.

— Хочешь стать личным цензором?

— Почему бы и нет? За тобой нужен глаз да глаз.

Михаил вышел из комнаты, а Чаадаев, подойдя к столу, стал рассматривать разложенные на нем бумаги. Среди них было что-то вроде реестра: сведения о минувшей холере. Аккуратно, столбцами, по месяцам и дням. Столбцов выстраивалось четыре — «вновь заболело», «выздоровело», «умерло», «осталось больных». Выписки из газет. Изо дня в день, не ленясь, Михаил вел итоги гулявшей по стране болезни.

Чаадаев представил, как брат пишет здесь в одиночестве эту мрачную летопись, что-то там соображает по своим цифрам, радуется, что холера обошла его деревню, а потом кличет свою Марфу...

Такая тоска опять охватила его, что ему захотелось кричать, бежать отсюда прочь.



Некуда было спрятаться от этой жизни!

Нет, не зря написал он в своем сочинении — и это было как вопль, как пощечина современникам и самому себе тоже:

«Эти рабы, которые вам прислуживают, разве не они составляют окружающий вас воздух? Эти борозды, которые в

поте лица взрыли другие рабы, разве это не та почва, которая вас носит? И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в нем все мы гибнем, бессильные выйти из него. Вот проклятая действительность, о нее все мы разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые благородные усилия, самые великодушные порывы. Вот что парализует волю всех нас, вот что пятнает все наши добродетели. Отягченная роковым грехом, где она, та прекрасная душа, которая бы не заглохла под этим невыносимым бременем?»

А сколько таких, как Михаил, заживо похоронивших себя! Но самое ужасное, что они, кажется, даже не испытывают боли от своего положения.



Утешение, как это уже бывало нередко, принес Пушкин.

Опять, возвращаясь осенью из Болдина, он заглянул к Чаадаеву и растормошил его рассказами о деревне и своей работе. К этому прибавилась и новая тема — семейные хлопоты. Пушкин с восторгом говорил, что его меньшей, Сашка, рыж; а у дочки, у Машки, режутся зубы; что жена его не только красавица, но и умница, бой-баба, с ней ему хорошо, и она, несомненно, любит его...

Ему можно было позавидовать.

Он прочитал Чаадаеву только что законченную повесть в стихах о Петре Первом, петербургском наводнении и горестной судьбе маленького чиновника.

Чаадаев слушал вступление к повести, ловя себя на том, что враждебный ему Петербург оживает в памяти отрадными чертами.

Да, это все же был город юности, надежд, пылкой дружбы. А Пушкин, как чародей, воскрешал памятные картины военных парадов, белые ночи...

Все видел и слышал Чаадаев, внимая пушкинским стихам — «и блеск, и шум, и говор балов», и эти вырывавшиеся фейерверком строки:

А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.

— Вы опасный поэт, — старался он скрыть свое волнение.

— Почему? — смотрел на него своими ясными глазами Пушкин.

— Вы примиряете с тем, что ум осуждает. Я должен ненавидеть Петербург — ваши стихи мешают этому.

— Вот и прекрасно!

— Я понимаю, — Чаадаев говорил задумчиво, — моя философия вас задела. Вы рисуете величие России.

— Да, вы правы. Я ценю прошлое России и верю в ее будущее.

— Но что вам дает такую веру?

— Люди... Народ...

— Какой народ, Александр Сергеевич?! Тот, который столетиями с покорностью раба гнет спину? Вы же сами об этом писали! Который до сих пор живет в черных избах? Поклоняется византийскому богу?

— Бог здесь ни при чем, — сердито сказал Пушкин. — Это не мешает людям жить, любить, слагать песни. Вы знаете, какие у народа песни? В них все — история, философия, поэзия. Десять лет назад я постиг это и стал писать хорошие стихи. Вы спрашиваете, что дает мне веру? Это вот и дает. Я не верю, чтобы народ — создатель таких песен — прозябал в прошлом и был недостойн славного будущего.

— Слишком зыбко, — свел брови Чаадаев. — Я не могу опираться на это.

— А вы не забыли двенадцатый год?

— Я ничего не забыл... Но год этот канул в Лету.

— Не будь двенадцатого года, не было бы и двадцать пятого.

— Это роковой год. Какое-то проклятие лежит на нашей стране. Я удивляюсь, как вы еще сохраняете такое присутствие духа.

— Я борюсь, как могу, за свою Россию.

— Поэтому вы и со мной спорите?

— Не только с вами. — Пушкин был доволен, что Чаадаев уловил скрытый спор с ним в повести.

— С кем же еще?

— С Мицкевичем.

Чаадаев кивнул, он понял Пушкина.

Вскоре после возвращения из России в Польшу Мицке-

вич издал поэму «Дзяды», с довольно злыми главами о русской столице.

— Даже милых наших северянок оскорбил, неблагодарный: лица у них зимой красны, как варенные раки.

— И вы не могли стерпеть? — рассмеялся Чаадаев, припомнив только что отзвучавшие строки: «Люблю зимы твоей жестокой недвижный воздух и мороз, бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче роз...» Потом он признался: — Мне его поэзия близка. Мицкевич сумел передать силу истинной религии.

— И он, и вы избрали ее как щит противу самовластья, — с досадой заключил Пушкин. — Но это не лучший щит.

— Ничто другое не дает твердости и силы.

— А знания, наука? Вы сами посвятили этому блестящие страницы. Мне кажется, ваш мистицизм — маска. Рано или поздно вы ее сбросите.

— Это не мистицизм, — не согласился Чаадаев, — это вера. Может быть, вы обратили внимание на то, что я писал о Ньютоне: сомнительно, чтобы равнодушный к религии человек так хорошо сумел раздвинуть границы науки?

— Пусть будет так, — примирительно сказал Пушкин. — Я не всегда согласен с вами. Но я признаю за вашим сочинением огромную силу. Оно возбуждает мысль. А это ли не главное, что сейчас так необходимо нам, русским?

— «В России чтут царя и кнут», — прочитал Чаадаев строчки известного стихотворения Полежаева.

— Но ведь и мы с вами зачем-то живем на свете! — воскликнул запальчиво Пушкин. — У меня есть мысль — издавать журнал. Вы бы стали в нем печатать свои сочинения?

Опять Чаадаев подивился энергии и оптимизму своего друга.

— Все, что я написал и напишу, — заражаясь его настроением, ответил Чаадаев, — я охотно отдам вам.

— У вас найдется, чем скрепить наш договор?

— Кое-что от лучших времен я приберег. Иван Яковлевич! — позвал он. — Найди-ка нам, голубчик, ту старую бутылку в буфете. Не перепутаешь?

— Разберусь, — ухмыльнулся довольный Иван Яковлевич, отправляясь в столовую.

Он любил, когда к барину заезжал Пушкин. Как бы ни

спорили они между собой, а настроение у Петра Яковлевича после этого посещения всегда менялось к лучшему.



Чаадаев постоянно в мыслях обращался к своему другу. Пушкин тоже не прерывал своего диалога с Чаадаевым.

В 1834 году поэт задумал большую статью, которую назвал «О ничтожестве литературы русской». В ней он высказывал соображения, кое в чем близкие чаадаевским.

«Долго Россия оставалась чуждою Европе, — писал Пушкин. — Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-кафолического мира. Великая эпоха возрождения не имела на нее никакого влияния; рыцарство не одушевило предков наших чистыми восторгами, и благодетельное потрясение, произведенное крестовыми походами, не отозвалось в краях оцепеневшего севера...»

Но далее Пушкин, в отличие от Чаадаева, справедливее и глубже оценивал исторические судьбы своей родины:

«России определено было высокое предназначение... Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу поработленную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией...»

Статью Пушкин не закончил. Его спору с Чаадаевым не суждено было стать достоянием печати.





*Эпоха! Год неблагодарный!..
Россия, плачь!..*

А. И. Полежаев



В журнале, который основал Пушкин, сочинения Чаадаева так и не были напечатаны. Они увидели свет в другом издании, но в том же самом 1836 году, когда Пушкин выпустил первый номер своего «Современника».

Несколько лет труд Чаадаева ходил в рукописи. Ее читали в Москве, в Петербурге, в провинции. Чаадаев, правда, не преувеличивал значение этого факта. Писал он совсем не для того, чтобы понравиться обитателям гостиных, самозабвенно предававшихся висту и реверси. Однако нельзя было не заметить и того, что его философия вызывает у людей отклик и что в русском обществе кое-что стало в последние годы меняться...

Пушкину царь разрешил работать в архивах для составления истории Петра.

По этому поводу Чаадаев заметил в письме Александру Тургеневу: «Его книга придется как раз кстати, когда будет разрушено все дело Петра Великого: она явится надгробным словом ему».

Однако несмотря на горечь усмешки, Чаадаев отдавал должное настойчивости поэта.

Из Петербурга пришло известие о постановке небывалой пьесы о русских чиновниках. Вскоре она пошла и в Москве.

Ничего подобного после «Горя от ума» Чаадаев не читал и не видел. Разве что пушкинская «Сказка о попе и работнике его Балде» была под стать ей по смелости и остроумию. Но Пушкину так и не удалось напечатать свою сказку. А пьеса шла в театре и вызывала шумные споры.

Это была комедия Гоголя под названием «Ревизор». То-го самого Гоголя, который когда-то удивил Чаадаева своим безмятежным весельем.

Смотреть эту пьесу пошел даже Иван Яковлевич, который, будучи серьезным книгочеем, отзывался снисходительно о театральных развлечениях. Тут, однако, проняло и его.

Поздно вечером он осторожно приоткрыл двери чаадаевского кабинета и, увидев барина по обыкновению в кресле и с книгой, негромко кашлянул.

— Что тебе, Иван? — спросил Чаадаев, с удивлением оглядев его черный, нарядный сюртук, но потом вспомнил, что еще накануне камердинер отпрашивался в театр. — Понравилось?

— Прямо ошпарило! — Иван Яковлевич был очень возбужден. — А чиновники-то, чиновники! — засмеялся он. — Вы бы послушали, Петр Яковлевич, что они толкуют после спектакля! Намылили им головы! Ведь точно, как у нас в Москве. «Меня сам государственный совет боится». «Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы?»

Всегда выдержанный и степенный, Иван Яковлевич не был похож сам на себя. Он, как ребенок, с удовольствием вспоминал пьесу.

Глядя на него, стал смеяться и Чаадаев.

Иван Яковлевич достал платок, вытер слезы и неожиданно спросил:

— А верно ли, Петр Яковлевич, что государь простит осужденных?

— Каких осужденных? — не понял Чаадаев.

— По делу четырнадцатого декабря.

— Откуда ты это взял?

— Говорят.

— Не слышал я, Иван...

Да и не верилось ему в такое.

Император Николай был злопамятен и жесток. Это Чаадаев знал точно. А те, которые выступили против него десять лет назад, милости не просили.

Двоюродная сестра Ивана Якушкина давала читать Чаадаеву письма брата... В них Чаадаев не встречал и нотки раскаяния.

Ему теперь казалось, что он стал лучше понимать причины декабрьской трагедии. Он послал Ивану письмо, в ко-

тором прозвучали отголоски его философской теории. «Мы прожили века так или почти так, как и другие, — писал он, — но мы никогда не размышляли, никогда не были движимы какой-либо идеей; и вот почему вся будущность страны в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми...»

«Ни к кому другому я бы не осмелился обратиться с такой речью, — признавался он Ивану, — но тебя я слишком хорошо знаю и не боюсь, что тебя больно заденет глубокое убеждение, каково бы оно ни было».

Но Чаадаев не только бросал своему другу запоздалый упрек в том, что тот слишком неосмотрительно поставил на карту свою судьбу и судьбу своих друзей, он выражал восхищение его мужеством.

Существовало древнее изречение: нет прекраснее зрелища, чем зрелище мудреца в борьбе со злым роком. Иван вселял веру если не в торжество, то в непобедимость разума.

«...Великое благо судьбы, — написал ему Чаадаев, — что она тебе позволила сохранить вкус к науке среди ужасов, обрушившихся на тебя по людскому суду...»

А на воле русские люди тоже понемногу приходили в себя.

В Московском университете возникали кружки, на которых горячие головы читали и обсуждали опасных авторов, преимущественно философов... Раньше о таких кружках нельзя было даже и подумать.

«Может быть, и впрямь происходят какие-то сдвиги, — размышлял Чаадаев, — десять лет прошло с той страшной казни...»

Профессор университета Надеждин и предложил Чаадаеву напечататься в его журнале.



Он пришел к Чаадаеву, прямой, большеносый, с маленькими глазками за толстыми стеклами очков, напоминавший переростка-бурсака.

Больше всего смущал Чаадаева нос профессора — шишковатый, мясистый; и Чаадаев даже сердился на себя: ка-

кие глупости отвлекают его внимание! В конце концов, разве это так существенно — нос? Да и отсутствие аристократических манер (что также отличало посетителя) не должно заслонять несомненных его достоинств.

А они у Надеждина были. Его журнал «Телескоп», который Чаадаев аккуратно прочитывал, был едва ли не самым живым и честным журналом во всей России.

— Но все, что я написал, — признался Чаадаев, — я написал по-французски...

Он сомневался, что сможет, как должно, перевести на родной язык собственное сочинение. Самого себя и вообще-то трудно переименовывать, да и не было у него, к сожалению, привычки излагать сложные материи на родном языке. Он чувствовал этот свой недостаток, считая, что русский должен писать по-русски. Но следы воспитания — увы! — не стираются до конца жизни.

В одном из своих писем Пушкину он даже просил: «Пишите мне по-русски; вам не следует говорить на ином языке, кроме языка вашего призвания».

Но Надеждин все предусмотрел. Одно из чаадаевских писем было уже переведено. Чаадаеву оставалось лишь проверить перевод.

Надеждин с довольной улыбкой извлек из портфеля рукопись и вручил ее Чаадаеву.

— Кто же сделал перевод? — поинтересовался Чаадаев.

— Для вас я не сделаю секрета, — сказал Надеждин. — Перевод Виссариона Григорьевича Белинского. Это мой бывший студент, а нынче сотрудник. Весьма дельный молодой человек. Возможно, вы читали его статьи.

— Напомните, — попросил Чаадаев.

— Он писал о повестях господина Гоголя. А годом ранее была его статья под названием «Литературные мечтания».

— Да, да, помню.

В свое время, два года назад, эта статья никому не известного автора вызвала в Москве много толков. Чаадаеву она была памятна потому, что и ее тон и некоторые размышления перекликались с его собственными мыслями о судьбах России.

Когда Надеждин ушел, он достал с полки старую связку газеты «Молва», в которой была напечатана эта статья.

Устроился поудобней в кресле и сначала внимательно прочитал перевод своего философического письма, радуясь точности и энергии перевода, а затем — статью Белинского.

Да, память не подвела. Этот Белинский мыслил умно, запальчиво, а подчас и горько.

«Это была жизнь самобытная и характерная, — писал он о русском средневековье и его связях с Западом, — но односторонняя и изолированная. В то время, когда деятельная, кипучая жизнь старейших представителей человеческого рода двигалась вперед с пестротой неимоверною, они ни одним колесом не зацеплялись за пружины ее хода».

Под этими словами, пожалуй, мог бы подписаться и он, Чаадаев.



Ему захотелось познакомиться с этим человеком. Он попросил Надеждина; и вот перед ним сидит худой, невысокого роста блондин с бледным, выразительным лицом.

Они говорят о литературе, о журналах... Белинский не разделяет слишком мрачное мнение Чаадаева о прошлом и в особенности о будущем России. В этом он ближе Пушкину, Чаадаев удивляется: как у этих столь разных людей выработался одинаковый взгляд?

Чаадаев пристрастно и даже с ревностью присматривается к своему гостю. Он для Чаадаева совершенно новый тип человека. Бедняк, почти плебей, изгнанный из университета за неблагонадежность. Совсем еще молодой — Надеждин говорил, что ему двадцать пять, но выглядит он еще моложе и как-то гораздо более хрупко, нежно для своего возраста.

В то же время Белинский поразил Чаадаева и внутренним благородством, и широтой познаний. О чем бы ни шла речь — о французской литературе, о немецкой философии, об истории, — Белинский свободно говорил с Чаадаевым, спорил, называя имена, книги, статьи.

«Когда это он все успел? — с недоумением думает Чаадаев. — Он ведь даже не закончил курса в уни-

верситете. А нынче работа в журнале. Представляю, что это такое!»

Но самое главное все-таки состояло в том, что Белинский не придавал большого значения всем этим знаниям, не рисовался ими (что часто бывало с некоторыми знакомыми Чаадаева из светских, аристократических кругов). Для Белинского знания были важны не сами по себе и не для того, чтобы ими блеснуть.

Опять Чаадаев вспомнил Пушкина. Тот тоже умел вот так же скромно использовать свои знания в работе или в беседе с друзьями.

— Я боюсь, — признался Белинский, — что многих мест цензура не пропустит.

Он показывает Чаадаеву страницу, где речь идет о работе русских крестьян.

— Если это опустить, — говорит Чаадаев, — то и многое другое в моем сочинении теряет смысл.

— Я буду с вами прям. Похвалы западной церкви не встретят поддержки у русских. Но я понимаю, что вы пришли туда, избив ноги по всем дорогам России и не найдя на этих дорогах истины.

— Мне кажется, я ее нашел. Но Россия слишком еще далека от нее.

Он не собирался переубеждать своего переводчика, почувствовав, что тот был человеком другого круга, других интересов, другой судьбы.

«А может быть, и другой России? — подумал Чаадаев. — Россия так резко меняется каждое десятилетие...»



Его потянуло в университет.

Он не был там целую вечность.

Почему-то возникало странное, необъяснимое предчувствие, что именно там могут скрываться ответы на многие беспокоившие его вопросы.

В одну из своих прогулок он повернул в ту сторону, куда более четверти века назад ездил, бывало, с братом в коляске всякий день...

А нынешний день был светел и тоже, как встарь, многообещающ.

Поблескивала кровля башен Кремля. Время их не коснулось. И даже внизу, у подножия величавых стен, на дорожках, посыпанных песком, как и в пору чаадаевского детства, прогуливались гувернеры со своими питомцами. Правда, сюртуки гувернеров и курточки барчат имели теперь другой фасон. Но это уже было несущественно...

«Мы все постигали азы на этих дорожках, — улынулся Чаадаев, — а потом нас потянуло туда...»

Прочь с этих дорожек, через широкую площадь, к трехэтажному зданию за оградой.

Его перестроили после пожара 1812 года, оно стало рядней. А на пути к нему не было тогда огромного, украшенного колоннами манежа.

Из него шагом выехало два офицера, улана, оба молоденькие, оба с разгоряченными лицами.

Опять улыбка тронула губы Чаадаева...

В коридорах университета было малоллюдно: лекции кончились, экзамены еще не начались.

Чаадаев шел по коридорам, заглядывал в аудитории и не узнавал их. Внутри все было переделано. Но, как и в годы его учения, студенты были в форменных сюртуках. И так же на одних эти сюртуки были новые, из отличного сукна, а у других — победнее, с вытертыми локтями. Правда, этих, победнее, сейчас встречалось больше.

Но все равно, пройдясь по университету, Чаадаев ничего особенного не увидел и не услышал. Да и на что он, в сущности, рассчитывал? Так, что-то смутное нахлынуло.

«Приду осенью, — решил он, — послушаю нынешних профессоров. Может быть, и сам стану читать...»

В самом деле, а если попробовать? Шеллинг уговаривал заняться этим в Германии... Может быть, университетское начальство рискнет выпустить его на кафедру без одобрения Бенкендорфа?

Чаадаев спустился по лестнице во двор, обдумывая эту новую, весьма заманчивую идею.

— Петр Яковлевич! — внезапно окликнул его Надеждин, с широкой улыбкой идя навстречу. — У нас! Какими судьбами?

— Я имел счастье учиться в этих стенах, — поздоровавшись, церемонно ответил Чаадаев.

— Вот как? — Бугристое лицо Надеждина выражало искреннее и радостное изумление. — Значит, вы душой наш, университетский! — Его маленькие глазки сияли за стеклами очков. — А я вас могу обрадовать!

— Есть корректурные листы? — догадался Чаадаев.



Новые, неведомые дотоле чувства охватили Чаадаева, когда наконец он взял в руки номер «Телескопа» со своим «Философическим письмом».

Вот и свершилось то, чего он опасался все эти годы и возможность чего все же не исключал.

Еще пять лет назад, беспокоясь о судьбе своей рукописи, он признавался Пушкину:

«Вы знаете, какое это имеет значение для меня? Дело не в честлюбивом эффекте, но в эффекте полезном. Не то, чтоб я не желал выйти немного из своей неизвестности, принимая во внимание, что это было бы средством дать ход той мысли, которую я считаю себя призванным дать миру: но главная забота моей жизни, это довершить эту мысль в глубинах моей души и сделать из нее мое наследие».

Печатный оттиск работы на русском языке, несомненно, должен будет иметь иной эффект и значение, нежели рукопись по-французски.

Как писал Александр в конце первой главы «Онегина»:

Цензуре долг свой заплачу
И журналистам на съеденье
Плоды трудов моих отдам:
Иди же к невским берегам,
Новорожденное творенье,
И заслужи мне славы дань:
Кривые толки, шум и брань!

Но ни Чаадаев, ни Белинский, ни тем более Надеждин, который очень дорожил своим университетским местом и боялся окрика начальства, — никто из них и не подозревал, какой шум вызовет это первое «Письмо» появившееся в печати.

Воистину, печатное слово способно произвести порой мгновенное и неотвратимое действие!



Несколькими днями позже москвичей журнал получили в Петербурге. Получил его и знакомый Чаадаева, Филипп Филиппович Вигель. Журнал «Телескоп» он перелистывал отчасти из личного интереса к изящной словесности (он мог похвастаться приятельством со многими литераторами), а отчасти и по долгу службы, так как возглавлял духовный департамент по министерству внутренних дел.

После первых же страниц Вигель почувал что-то знакомое. Когда-то он уже читал эту зауспокойную молитву всему, что должен любить истинный патриот. Только тогда, несколько лет назад, она звучала немного по-другому, приглушенней, что ли... Может быть, оттого, что была написана, помнится, по-французски. А может быть, и потому, что сам Филипп Филиппович был другим, не обремененным директорским саном, который требовал особой бдительности в делах духовных... И сразу же Вигель вспомнил имя автора. А вспомнив, похолодел от предвкушения возможности наконец-то воздать по заслугам этому умнику, который за версту давал почувствовать свое превосходство.

Прочитав «Письмо», не медля ни минуты, Вигель сел за донос петербургскому митрополиту Серафиму.

«Высокопреосвященнейший владыко, милостивейший архипастырь! Прожив более полувека, я никогда ничьим не был обвинителем, — писал Вигель, нимало не смущаясь тем, что ряд смутных образов промелькнул в этот момент в его памяти и что ложь эта адресована священнику. — Но вчера чтение одного московского журнала возбудило во мне негодование, которое, постепенно умножаясь, довело меня до отчаяния. В сем положении не нахожу другого средства к успокоению своему, как прибегнуть к вашему преосвященству с просьбою обратить пастырское внимание ваше на то, что меня так сильно встревожило. Иные скажут, может быть, что я не в праве сего делать, но, как верный сын отечества и православной церкви, я считаю сие обязанностью».

И «верный сын отечества», не сдерживая «благородного» негодования, признался митрополиту в том, что статья, напечатанная в «Телескопе», «содержит в себе такие изречения, которые одно только безумство себе позволить может».

«Меня утешала еще мысль, — лицемерил Вигель, — что сие так называемое философское письмо... вероятно составлено каким-нибудь иноверцем, иностранцем, который назвался русским, чтобы удобнее нас поносить. Увы! К глубочайшему прискорбию, узнал я, что сей изверг, неистощимый хули-тель наш, родился в России от православных родителей и что имя его (впрочем, мало доселе известное) есть Чаадаев».

Так. Имя было названо. Вигель мог добавить еще одну порцию филиппик:

«Среди ужасов французской революции, когда попираемо было величие бога и царей, подобного не было видано».



Прочтя донесение Вигеля, митрополит Серафим потребовал доставить ему журнал и тот же час снесся с Бенкендорфом.

Письмо Серафима было короче, без особых чувствительных взрывов, но определяло все, что нужно было по существу.

Вкупе с духовными не дремали и светские власти.

Министр народного просвещения Уваров подал прямо царю, минуя Бенкендорфа, записку. В ней он отмечал, что вся статья в «Телескопе» «равно предосудительна в религиозном, как и в политическом отношении...»

Это уже был язык точных юридических определений.



На столе перед царем были разложены книжка журнала с пометками на полях, донесения Серафима, Уварова и Вигеля. Слова последнего о том, что статья «содержит в себе

такие изречения, которые одно только безумство себе позволить может», были подчеркнуты.

Николай обмакнул перо в чернильницу и написал на докладной министра:

«Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы достойной ума лишенного; это мы узнаем непременно».

Потом Николай вызвал Бенкендорфа.

— Это который Чаадаев? — спросил царь. — Тот самый?

— Тот самый, ваше величество, — ответил Бенкендорф. — Наблюдение за ним мы вели постоянно.

— Проглядели, — не выражая особого неудовольствия, заметил царь.

— Какова будет воля вашего величества насчет виновного?

— Вот, погляди. — Николай подтолкнул к Бенкендорфу свое решение.

— Справедливо, — заключил Бенкендорф. — С присущей вашему величеству проницательностью.

Николай поднял на генерала непонимающие глаза.

— Все поступки господина Чаадаева лишены были здравого смысла и рассудка, — пояснил шеф жандармов. — Я хорошо помню его отставку. Затем эта дерзкая просьба о месте дипломата. Я навел справки, ваше величество. Оказалось, дед Чаадаева, будучи генерал-майором, помер в душевной болезни.

— На чем же он был помешан? — оживился царь.

— Он вообразил себя персидским шахом.

— Стало быть, внук пошел в деда. Прикажи осмотреть его лекарям, и пусть он сидит впредь у себя дома.

— Приказа об аресте не будет? — удивился Бенкендорф.

— Для чего? — благодушно возразил царь. — С умниками надо поступать умно. Распорядись все же, чтобы он нигде не печатался. А господина Надеждина от должности отстранить и вытребовать сюда к ответу.



Бенкендорф продиктовал письмо московскому генерал-губернатору Голицыну.

С тонкостью иезуита Бенкендорф извещал своего адресата о том, что жители Москвы «изъявляют искреннее сожаление» свое о постигшем Чаадаева расстройстве ума, «которое одно могло быть причиною написания подобных нелепостей». И от лица императора требовал, чтобы Голицын принял надлежащие меры к оказанию «г. Чеодаеву возможных попечений и медицинских пособий».

«Его Величество повелевает, — диктовал шеф жандармов, — дабы вы поручили лечение его искусному медику, вменив сему последнему в обязанность непременно каждое утро посещать г. Чеодаева, и чтобы сделано было распоряжение, дабы г. Чеодаев не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха; одним словом...»

Бенкендорф задумался, а писарь застыл с поднятым над бумагой пером.

«...одним словом, — снова на мгновение осветилось изнутри лицо графа, — чтобы были употреблены все средства к восстановлению его здоровья».



Чаадаев ничего не подозревал, когда увидел шагающих через сад трех жандармских офицеров и одного штатского с кожаной сумкой.

Старший из офицеров осведомился, точно ли видит перед собой господина Чаадаева, представился и сказал, что по распоряжению генерал-губернатора они должны произвести осмотр и изъятие принадлежащих Чаадаеву бумаг.

Чаадаев пропустил их в квартиру и во все время обыска не сдвинулся со своего кресла.

Иван Яковлевич враждебно глядел на жандармов и без нужды приходил в кабинет и уходил оттуда. Штатский набивал рукописями сумку, а когда ее не хватило, стал складывать листы стопкой на столе. Жандармы раскрыли книжные шкафы и деловито перебирали книги.

Чаадаев не знал, к чему приведет обыск. Но чем бы он ни кончился — бумаги заберут непременно. А без них остановится вся работа. Тогда уж пусть лучше и его уведут.

В конце концов и он должен испытать то, что выпало на долю многим его друзьям десять лет назад. Наверное, и к Якушкину, и к Трубецкому точно так же являлись незваные гости с озабоченными лицами и рылись в книгах, вещах...

Но жандармы не арестовали Чаадаева.

Старший офицер даже извинился за учиненный, как он выразился, «некоторый беспорядок» и передал приглашение обер-полицеймейстера быть завтра у него поутру.

Как только жандармы ушли (каждый из них нагруженный тяжелой связкой книг), прибежала испуганная Левашева.

Чаадаев нашел в себе силы шутить с ней. Но нервы его были взвинчены. Он не сомкнул глаз всю ночь.



Утром у обер-полицеймейстера Цынского Чаадаев с недоумением выслушал приговор о том, что отныне должен считать себя больным.

— Я совершенно здоров, — машинально сказал он.

— Вы должны поправить свое здоровье... — Цынский разговаривал с Чаадаевым вежливо и даже обходительно. — Государь император проявляет о вас отеческую заботу.

— Но за больными должен смотреть доктор, а не полиция!

— Ах, Петр Яковлевич, — с некоторым раздражением произнес Цынский, — какой резон нам с вами спорить? Тут воля государя, а вы толкуете бог знает о чем...

— К чему эта комедия? — вскипел Чаадаев. — Лучше уж сразу сажайте в желтый дом!

— Вот вы уже и обеспокоились, — укоризненно посмотрел на него Цынский, — и напрасно. Вы будете жить у себя, как и жили. Все останется по-прежнему...

— А мои бумаги?

— Бумаги ваши придется задержать.

— Но они мне необходимы для занятий!

— Вам лучше повременить. Ничего не пишите. А тем паче не печатайте. Советую дружески. Кстати, вы помещали статьи под своей фамилией или под псевдонимом?

— Я не подписывал своих сочинений.

— А Петр Басманный не ваша ли подпись?

— Не припоминаю.

— Вы жительствоуете на Малой Басманной?

— Какая же связь?

— Вы правы... Позвольте полюбопытствовать, уважаемый Петр Яковлевич, отчего в конце одного «Философического письма», напечатанного в «Телескопе», вы обозначили место написания Некрополь?

— Затрудняюсь объяснить. Принято ставить в конце письма место отправления.

— Но города такого в пределах Российской империи не существует. Некрополис же, как вам прекрасно известно, по-гречески означает город мертвых. А вы изволите вот уже много лет житьствовать в Москве. Как же понимать вашу аллегорическую-с?

— Я употребил это слово без задней мысли. Это дань литературной традиции.

— Пусть будет так, не смею спорить... Не припомните ли, уважаемый Петр Яковлевич, кому вы отдавали переводить вашу статью?

— Статья эта, равно как и другие, писанные мною по-французски, распространены были в публике уже несколько лет. Полагаю, что и перевод сделан тогда же и без моего ведома.

— Быть может, вы имели сношения с сотрудником господина Надеждина и переводчиком «Телескопа» господином Белинским?

— Господин Белинский, сколько мне известно, долгое время отсутствует в Москве.

— Да, да, вы правы. Это известно... Если позволите, у меня к вам еще один вопрос.

— Сделайте одолжение.

— Как распространилось в обществе, ваше «Письмо адресовано некоей госпоже Пановой. Не могли бы вы вспомнить, как давно вы с нею последний раз виделись?

— С госпожою Пановой и ее мужем я прекратил знакомство несколько лет назад и виделся еще один раз в про-

шлом году. Что же касается до «Письма», то оно лишь по форме слога обращено к женщине. Госпожа Панова с мужем, нанеся визит мне в прошлом году, впервые узнала о существовании этого «Письма».

— Вы это можете подтвердить письменно?

— Как будет угодно вашему превосходительству.

— Доктора вам завтра пришлют, — пообещал на прощанье Цынский. — Не откажитесь принять его.



Утром к Чаадаеву явился пьяный штаб-лекарь.

Появление сего эскулапа, пахнущего водкой и табаком, изрыгающего хулу на «помешанного щелкопера», было столь диким, что Чаадаев взял его за шиворот и выставил в прихожую.

Там с ним объяснялся Иван Яковлевич.

На другой день штаб-лекарь пришел почти трезвым, но брань не прекратил.

Чаадаев пожаловался генерал-губернатору. Через неделю прислали нового доктора.

Это был неглупый и совестливый господин, по фамилии Бок, который понимал всю щекотливость возложенной на него миссии. Он ни словом не заикался о мнимой болезни подопечного. Приходя, Бок спрашивал книги, в которых можно было найти сведения по медицине древних. Он при-страивался на некоторое время за ломберным столом в кабинете Чаадаева и делал для себя выписки в толстую тетрадь. Потом ставил книгу на место, благодарил Чаадаева и тихо исчезал.

С визитами этого врача Чаадаев должен был примириться.

Бок приходил утром, а во всю остальную часть дня Чаадаева навещали знакомые: он и не подозревал, что у него так много сочувствующих.

Чаще всех во флигеле на Малой Басманной бывал Михаил Орлов.

Он был старше Чаадаева на восемь лет. Отставной, опальный генерал, связанный, как и Чаадаев, с декабриста-

ми, но избежавший расправы, Орлов хорошо понимал состояние друга.

Расставаясь в эти дни ненадолго, они обменивались письмами.

«Нас обоих треплет буря, — писал Чаадаев Орлову, — будем же рука об руку и твердо стоять среди прибоя. Мы не склоним нашего обнаженного чела перед шквалами, свистящими вокруг нас. Но главным образом не будем более надеяться ни на что, решительно ни на что для нас самих. Ничто так не истощает, ничто так не способствует малодушию, как безумная надежда... Какая необъятная глупость в самом деле надеяться, когда погружен в стоячее болото, где с каждым движением тонешь все глубже и глубже... Но все же будем надеяться о братьях наших, о наших детях, о священной родине нашей, столь великой, столь могущественной, столь спокойной!»



Однажды вечером, в начале зимы, он зашел в книжную лавку...

Прощаясь, хозяин, как обычно, поклонился ему с почтением и назвал по имени и отчеству.

Стоявший к ним спиной у полка с книгами молодой человек быстро обернулся и тоже покинул лавку.

На улице он осторожно спросил:

— Господин Чаадаев?

Чаадаев слегка кивнул.

Фонарь освещал старенькую шинель, незнакомое Чаадаеву лицо.

— Разрешите пожать вашу руку! — порывисто воскликнул молодой человек.

— Вы студент? — Чаадаев не спешил убирать свою руку из большой, теплой ладони.

— Студент... — смутился молодой человек, потоптался немного возле Чаадаева, сделал неловкий поклон и зашагал прочь.

Снежинки кружились в бледном свете фонарей. Мимо двигались пешеходы; проносились сани, поднимая белые вихри.

Чаадаев долго стоял и смотрел, как удаляется высокая фигура в студенческой фуражке и шинели.



События последнего времени, общение с друзьями, особенно с такими разными людьми, как Александр Тургенев, Орлов и Пушкин, заставили Чаадаева кое в чем изменить свои прежние убеждения.

Он нарушил запрет и взял перо, чтобы объяснить-ся с друзьями, знакомыми и незнакомыми соотечественниками.

Подписки молчать он не давал. А истина вновь требовала слова. Он, как Чацкий, произносил свой заключительный монолог. Только в его монологе не было озлобленности, а были раздумье и сочувствие своим слушателям.

Эпиграфом Чаадаев взял слова английского поэта Кольриджа: «О мои братья! Я сказал много горьких истин, но без всякой горечи».

А образ грибоедовского героя все чаще теперь приходил ему на ум. Воистину, между ними было много общего!

Чаадаев писал объяснение по поводу «Философического письма»...

Его статья, признавался он, так странно задевшая национальное тщеславие образованного класса, была только введением к труду, который так и остался неоконченным. Чаадаев соглашался, что в публикации «Телескопа» была нетерпеливость в выражениях, резкость в мыслях. Но там не было, утверждал он, никакой враждебности к отечеству.

Он писал в объяснении о том, что любит свою страну и умеет ценить прекрасные качества русского народа. Но, в отличие от светской толпы, просто не научился любить родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой и запертым ртом.

«Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его», — гордо заявлял он.

Чаадаев лишь сожалел о том, что в опубликованном варианте «Философического письма» допустил преувеличения, печалась за судьбу народа, «из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина».

Он собирался выразить более полно и проникновенно свой взгляд на русскую историю.

Но и эту работу оборвали на полуслове: из Петербурга одна за другой стали поступать тревожные вести об Александре.



Сначала в конце октября прошел слух о том, что он вызвал стреляться приемного сына голландского посла. Потом — что дуэль отменена, так как Дантес сделал предложение пушкинской свояченице.

На какое-то время все будто успокоилось. Однако через месяц опять заговорили о дуэли.

В жизни друга было что-то неблагополучно. Но Чаадаев мог об этом догадываться лишь по отрывочным сведениям, а то и по сплетням и пересудам в свете.

Он написал Пушкину осторожное письмо, в котором сообщал о том, что очень хотел бы повидаться.

Ответ не приходил.

«Ему сейчас не до меня», — грустно думал Чаадаев, не зная, что даже в эти отчаянные дни Пушкин не забывал о нем, что незадолго до царского распоряжения считать Чаадаева сумасшедшим написал ему письмо в ответ на полученный от него номер «Телескопа».

«Благодарю за брошюру, которую вы мне прислали, — писал Пушкин по-французски. — Я с удовольствием перечел ее, хотя очень удивился, что она переведена и напечатана. Я доволен переводом: в нем сохранена энергия и непринужденность подлинника. Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всем согласен с вами... — И Пушкин, как когда-то в устном споре с Чаадаевым, только еще более рельефно начертил то, что он противопоставлял чаадаевской позиции: — У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева... Что же касается нашей

исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов?.. я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков...»

Пушкин не знал о той перемене, которая началась во взглядах Чаадаева на отечественную историю, но Пушкин продолжал считать, что даже этот несправедливый взгляд уместен в тогдашнем безвременье.

«Поспорив с вами, — подытоживал он, — я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши религиозные исторические воззрения вам не повредили... Наконец, мне досадно, что я не был подле вас, когда вы передали вашу рукопись журналистам».

Но пушкинское письмо осталось лежать в квартире на Мойке.

Возможно, поэт не хотел осложнять положение Чаадаева. Письмо наверняка перехватили бы и прочитали другие лица. Но не исключено и то, что в последнем поединке со своими оскорбителями он не имел уже душевных сил начинать серьезную переписку с другом, а решил отложить ее на иное время.

В самом письме был лишь один глухой намек на то состояние, в котором находился тогда Пушкин: «...как человек с предрассудками — я оскорблен...»

Этими «предрассудками» являлись для Пушкина высокие понятия о человеческой чести, чести семьи, чести гражданина и поэта России.



События же, как известно, разворачивались стремительно.

Чаадаев все острее чувствовал необходимость своего присутствия в Петербурге.

Он явился к Цынскому с просьбой разрешить короткую поездку в столицу. Полицеймейстер сморщился от неудовольствия:

— Что это вы, голубчик Петр Яковлевич, опять мудрите? Вам велено не отлучаться из Москвы.

— Но у меня есть интересы в Петербурге, — сказал твердо Чаадаев, — и мое присутствие там необходимо.

— Какие же это интересы? — подозрительно посмотрел на него Цынский.

Чаадаев понимал, что называть имя Пушкина в разговоре с полицейским не следует.

— Мои денежные дела, — произнес он с возможной печалью и достоинством, глядя прямо в глаза полицеймейстеру, — требуют решения в Петербурге.

— Вы хлопчете по наследству? — кажется, даже заинтересовался Цынский.

— Видите ли, — медленно объяснял Чаадаев, — наследство тут играет роль лишь отчасти...

— Пошлите доверенного! — словно делая подарок, воскликнул Цынский. — Или попросите кого-либо из друзей. У вас в Петербурге так много друзей!

В последних словах полицеймейстера была, возможно, скрыта насмешка, но Чаадаев не стал обращать на это внимания.

— Эти хлопоты я не могу поручить другому.

— А я не могу отпустить вас в Петербург.

— Кажется, последнее время я не давал поводов для неудовольствия. Я выполняю все предписания властей.

— Так-то оно так, Петр Яковлевич, — с каким-то сомнением сказал Цынский, — предписаний вы не нарушаете, да народ у вас во множестве собирается. Доложу вам по-дружески, нам сие хлопотно.

— Помилуйте, ваше превосходительство, это мои друзья!

— Знаю, знаю: господа Вяземский, Хомяков, Тургенев, Орлов...

— Мне в моем затворничестве посещение друзей — единственное утешение. Уверю вас — невинное.

— Я понимаю, понимаю...

— Так как же, ваше превосходительство, я могу получить разрешение? — вернул его Чаадаев к началу разговора.

— Не имею права, Петр Яковлевич, поверьте. Даже если бы и хотел — не имею. Я могу вам дать лишь совет — хлопочите перед его сиятельством.

Чаадаеву ничего не оставалось делать, как ехать со своей просьбой к князю Голицыну.

Генерал-губернатор Москвы князь Голицын принял его вежливо, но холодно. Он куда-то торопился или делал вид, что торопится (начальство зачастую прибегает к этому нехитрому, но обидному для посетителя приему, чтобы побыстрее отвязаться). Но хорошо было хотя бы то, что, в отличие от Цынского, Голицын не расспрашивал Чаадаева пристрастно о мотивах его поездки. Он лишь сказал, что не лучше ли будет для самого Чаадаева еще несколько повременить. Но когда Чаадаев принялся настаивать, Голицын нетерпеливо остановил его и сказал, что он тоже не вправе распоряжаться, но обещает снести с Петербургом.

«Кажется, я сделался важной персоной», — невесело усмехнулся Чаадаев, но вынужден был подчиниться.

Голицын действительно написал в Петербург и даже (чего не мог знать Чаадаев) не только изложил Бенкендорфу просьбу Чаадаева, но и ходатайствовал за него, ссылаясь на примерное поведение поднадзорного.

Однако княжеское ходатайство привело к обратному результату.

Бенкендорф раздраженно написал министру народного просвещения, чтобы и впредь не снимать с Чаадаева «медико-хирургического надзора».

О поездке в столицу не могло быть и речи.

Князь Голицын, получив соответствующие разъяснения от Уварова, развел руками и посоветовал Чаадаеву, к его же пользе, еще некоторое время не напоминать о себе.



Через месяц с небольшим из Петербурга пришло известие о гибели Пушкина.



Михаил Федорович Орлов опустился на диван, где обыкновенно любил устраиваться Пушкин, и долго не произносил ни слова.

Чаадаев сидел в своем кресле и тоже молчал.

Он казнил себя за то, что не посмел послушаться генерал-губернаторского приказа и остался в Москве, когда там, в столице, трагедия приближалась к развязке. Он был убежден, что, окажись он в этот момент рядом с Пушкиным, дуэли удалось бы избежать.

— Я виноват больше других, — сказал он, — меня бы Александр послушался.

— Как знать? — с сомнением проговорил Орлов. — Пушкин всегда был горяч. Его, бывало, не удержишь...

Он вспоминал кишиневские годы, когда командовал дивизией, а ссыльный Пушкин, совсем еще молодой, прибегал к нему на квартиру, читал стихи, дурачился, сердил не в меру важных и чопорных чиновников и офицеров.

Уже тогда была видна в нем гениальность, и уже тогда не все умели оценить его.

Вот в чем заключалась настоящая беда.

Лучшие люди России гибли в мирное время, когда, казалось, ничто не должно было угрожать человеческой жизни.

Ему, бывшему военному, навидавшемуся смертей во множестве сражений, это представлялось самым ужасным.

Что же могли противопоставить жестокой, бездушной силе — он, отставной генерал, чьи таланты военачальника были грубо отвергнуты высшей властью, и его друг, оклеветанный этою же властью философ?

Страшно прощанье с молодостью, с надеждами, с верой в то, что и ты недаром проживешь на свете, но еще страшнее хоронить друзей, когда в друзьях большая и лучшая часть самого себя, когда в них ты видел величие и славу отчизны.

Громко стучали часы, стоявшие в углу. За окном холодело февральское небо. Синий снег лежал на крышах домов, на куполах старенькой церкви. Ничто не нарушало вечернего покоя.

Кабинет Чаадаева медленно погружался в темноту,





ЭПИЛОГ

Почти двадцать лет после гибели Пушкина Чаадаев провел замкнуто. Он больше не предпринимал попыток объясниться с публикой.

Герцен, встречавшийся с ним в сороковые годы, писал:

«Печальная и самобытная фигура Чаадаева резко отделяется каким-то грустным упреком на линючем и тяжелом фоне московской high life...¹ Лета не исказили стройного стана его, он одевался очень тщательно, бледное, нежное лицо его было совершенно неподвижно, когда он молчал, как будто из воску или из мрамора, «чело, как череп голый», серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что-то доброе, тонкие губы, напротив, улыбались иронически... стоял он сложа руки где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе и — воплощенным veto², живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него...»

¹ высшее общество (англ.).

² запретом (лат.).

Холостяцкая квартира на Малой Басманной с каждым годом все сильнее притягивала к себе людей. Авторитет опального философа рос, ничто не укрывалось от его зоркого ока.

Он оставался беспощадным наблюдателем жизни и мог бы с полным правом повторить пушкинского Пимена: «Недаром многих лет свидетелем господь меня поставил и книжному искусству вразумил...»

После обыска осенью 1836 года у Чаадаева осталось всего два пушкинских письма и — записка на экземпляре «Бориса Годунова», напечатанного в 1830 году: «Вот, друг мой, мое любимое сочинение. Вы прочтете его, так как оно написано мною, — и скажете свое мнение о нем. Покамест обнимаю вас и поздравляю с новым годом».

Что касается их спора, то постепенно Чаадаев все больше соглашался со своим другом. А современников, как и предполагал когда-то Пушкин, все меньше отпугивал мрачный, с налетом мистицизма тон знаменитых чаадаевских «Писем». «Мистицизм послужил Чаадаеву наркотическим средством, — отмечал впоследствии Плеханов, — отчасти уменьшавшим его нравственные муки...»

И еще Плеханов писал: «...он страшно потрясал сердца людей, стремившихся завоевать для своей страны лучшее будущее. И они не переставали видеть в нем своего единомышленника...»

Для современников не прошел бесследно горький опыт чаадаевского отрицания, скепсиса и гнева. Отголосок его страсти мы слышали у Герцена, у Белинского. Созвучна чаадаевскому настроению и громоподобная «Дума» Лермонтова, обрушившаяся на русскую публику через три года после «Философического письма»:

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познания и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властью — презренные рабы.

Написаны были эти строки в 1838 году. А напечатаны через год в журнале «Отечественные записки». Две последние из приведенных строчек цензура не пропустила. Но все стихотворение Лермонтова запретить было уже нельзя.

Чаадаев мог гордиться победой тех, кто шел следом за ним.

О том, какие изменения происходили с Чаадаевым в последний период его жизни, свидетельствует написанная им прокламация, обращенная к крестьянам.

Следует подчеркнуть и жанр нового сочинения неумного философа — прокламация! — и ее адрес — крестьянам! — и год написания — 1848, год революционных потрясений в ряде стран Европы.

«Братья любезные, — писал он, — братья горемычные, люди русские, православные, дошла ли до вас весточка, весточка громославная, что народы выступили, народы крестьянские взволновались, всколебались, аки волны океана-моря, моря синего! Дошел ли до вас слух из земель далеких, что братья ваши, разных племен, на своих царей-государей поднялись все, восстали все до одного человека!»

Прокламация не вышла за пределы чаадаевского кабинета, не стала фактом общественно-политической борьбы своего времени. Но она важна для понимания гражданской позиции автора.

Брат Чаадаева Михаил, изнывая в своей деревне, записал в дневнике стихи Лермонтова, весьма характерно переиначивая последние строчки:

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Чтоб я с ней по синю полю,
Поскакал на том коне,
Дайте волю, волю, волю
И не надо счастья мне.

Петр Яковлевич не жаловался. Он мыслил и искал, и не его вина, что эти поиски не смогли тогда увенчаться успехом. На смену ему и декабристам шли другие — «молодые штурманы будущей бури». Так назвал их Герцен. Этими же словами называет их, революционеров-разночинцев, и Владимир Ильич Ленин в статье, посвященной памяти Герцена.

Герцен, Чернышевский, а затем русские марксисты высоко ценили гражданский подвиг Петра Яковлевича Чаадаева, друга Пушкина, единомышленника декабристов.

Умер Чаадаев в апреле 1856 года и, по его завещанию, был похоронен на кладбище Донского монастыря возле могилы Дуни Норовой.

А через несколько месяцев после его смерти Москва встречала первых возвратившихся из ссылки декабристов.

Наступала новая эпоха исторического развития России.

П Р И М Е Ч А Н И Я

К стр. 11. По рассказам друга Пушкина, поэта П. А. Вяземского и его жены (в записи биографа Пушкина П. И. Бартенева), в 1816 году Карамзину отвели казенный дом рядом с лицейским садом. Здесь Чаадаев и познакомился с Пушкиным.

К стр. 12. Силен — древнегреческое божество, олицетворявшее пьяное веселье. На одной из страниц книги немецкого философа Фридриха Якоби «Об учении Спинозы в письмах Мендельсону» Чаадаев записывал: «Много говорят об истине; но знают ли, что это слово едва встречается у древних философов. Древние философы умели говорить только о мудрости» (Центральный Государственный архив литературы и искусства — сокр. ЦГАЛИ, фонд 2208, опись I, единица хранения 92). Б. Спиноза — нидерландский философ-материалист XVII века.

К стр. 16. Тацит, Ливий, Флавий — историки античной эпохи.

К стр. 18. «Бова» — неоконченная поэма Пушкина.

К стр. 21. Масон — последователь масонства, тайного религиозно-философского течения конца XVIII — начала XIX века. Масоны ставили задачи «нравственного совершенствования».

К стр. 22. «Мы все с Невы поэты русски» — строка из сатирического стихотворения К. Н. Батюшкова «Видение на берегах Леты», в котором высмеяны бездарные поэты начала XIX века.

К стр. 25. Френсис Бэкон — английский философ-материалист XVI — начала XVII века. В. К. Тредиаковский — русский писатель XVIII века.

К стр. 27. Пиитика — поэтика, теория поэтического искусства.

К стр. 30. П. П. Каверин — гусарский офицер, участник кружка «Зеленая лампа», декабрист; А. М. Горчаков — лицейский однокашник Пушкина, будущий министр иностранных дел.

К стр. 34. Кортесы — парламент, законодательное собрание.

К стр. 38. Фотий — настоятель новгородского Юрева монастыря, реакционер, пользовался большим влиянием на царя.

К стр. 44. Ф. Н. Глинка — поэт, видный деятель Союза Благочестия; в 1820 году состоял на службе при петербургском генерал-губернаторе М. А. Милорадовиче. В своих воспоминаниях «Удаление А. С. Пушкина из С.-Петербурга» Глинка рассказывал о посещении Пушкиным Милорадовича.

К стр. 46. Франсуа Гизо — французский историк эпохи реставрации королевской власти после свержения Наполеона. Имеется в виду первый том книги Гизо «Новая история Франции».

Шарль Луи Монтескье — французский философ-просветитель XVIII века.

К стр. 60. В 10-й главе «Евгения Онегина» Пушкин писал:

...Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.

К стр. 68. Блез Паскаль — выдающийся французский физик и математик XVII века.

К стр. 69. Двоюродный брат Чаадаевых Иван Щербатов был замешан в семеновской истории и разжалован в рядовые.

К стр. 73. Из чаадаевского прошения: «В службу Вашего императорского Величества вступил я именованный из дворян л.-гв. в Семеновский полк подпрапорщиком 1812 г. мая 12, где произведен прапорщиком 1812 сентября 20, поручиком 1813 апреля 20 с переводом в Ахтырский гусарский полк, из коего переведен л.-гв. в гусарский полк корнетом 1816 г. апреля 15, поручиком 1816 г. июля 15, штаб ротмистром 1819 г. февраля 2, ротмистром 1819 декабря 15; в сем полку был в походах: 1812 г. в Российских пределах в генеральном сражении августа 24 и 26 при селении Бородине и при преследовании неприятеля октября 6 в ночной экспедиции при разбитии неприятельского корпуса при селении Тарутине в резерве, — октября 11 под г. Малым Ярославцем, 1813 года января при выступлении Российской армии в прусские владения при переходе через реки Неман, Вислу, Одер и Эльбу» (ЦГАЛИ, ф. 130, оп. 1, ед. хр. 51).

К стр. 76. Н. Муравьев, гвардии капитан генерального штаба, видный декабрист. С. Трубецкой, полковник лейб-гвардии Преображенского полка, за участие в заговоре декабристов был приговорен к каторжным работам. О его жене, Екатерине Ивановне Трубецкой, последовавшей за ним в Сибирь, Н. А. Некрасов пишет в поэме «Русские женщины».

К стр. 85. Миссионер — проповедник христианства среди нехристиан.

К стр. 90. Этерия — тайное общество, задачей которого было освобождение Греции от турецкого владычества.

Ф. В. Шеллинг — немецкий философ-идеалист.

К стр. 96. Виктор Консидеран — ученик и популяризатор французского утопического социализма Фурье.

К стр. 99. Карл Занд — немецкий студент, в 1819 году заколовший кинжалом агента царского правительства, реакционного писателя А. Коцебу.

Капитан-командор — в старой России флотский чин между капитаном 1-го ранга и контр-адмиралом.

К стр. 104. Вот этот отрывок из пушкинского послания Чаадаеву 1824 года:

Чадаев, помнишь ли бывшее?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И, в умиление вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

В первой части этого стихотворения Пушкин пишет о развалинах храма Артемиды.

К стр. 105. См. стихотворение Пушкина «К морю», в котором есть строки:

Моей души предел желанный!
Как часто по берегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!

К стр. 112. Жермена де Сталь — французская писательница.

К стр. 116. А. С. Норов — посредственный литератор, впоследствии министр просвещения; его упоминает в своих воспоминаниях о Пушкине А. П. Керн.

К стр. 122. И. Ф. Паскевич — главнокомандующий русскими войсками на Кавказе.

К стр. 123. А. К. Ермолов — генерал, герой Отечественной войны 1812 года; был популярен среди декабристов, командовал русскими войсками на Кавказе; после разгрома декабристов оказался в опале и должен был выйти в отставку.

К стр. 130. А. К. Сен-Симон — французский утопический социалист, умер в 1825 году.

К стр. 131. Политизм — многобожие, то есть поклонение нескольким божествам.

К стр. 132. Закладная — официальный акт, свидетельство о заложенном для получения денег имуществе.

К стр. 140. Вот, к примеру, строчки из этой поэмы:

Рим создан человеческой рукою,
Венеция богами создана;
Но каждый согласился бы со мною,
Что Петербург построил сатана.

(Перевод В. Левика)

Мистицизм — религиозно-идеалистический взгляд, основу которого составляет вера в сверхъестественные силы.

Во 2-м «Философическом письме» Чаадаев отмечал, что Ньютону «принадлежит только счастливое вдохновение — связать воедино оба эти закона» (Галилея — закон падения тяжестей и Кеплера — закон

движения планет); видано ли, чтобы человек, не говоря уже отрицающий бога, но хотя бы только равнодушный к религии, раздвинул, как он, границы науки за пределы, ей, казалось, предначертанные?»

К стр. 143. Вист, реверси — карточные игры.

К стр. 148. Н. Г. Чернышевский отмечал, что во времена молодости Чаадаева «кроме лжи ничего нельзя было прочесть»; в летописях и у Карамзина он не мог найти «философской идеи» (Н. Г. Чернышевский. Неизданные тексты, материалы и статьи. Саратов, 1928).

К стр. 152. Вот более полный отрывок из этого документа, помеченного 20 октября 1836 года: «Управление признало, что вся статья равно предосудительна в религиозном, как и в политическом отношении, что издатель журнала нарушил данную подписку об общей с цензурою обязанности пещись о духе и направлении периодических изданий...» (ЦГАЛИ, ф. 87, оп. 1, ед. хр. 242).

К стр. 166. О Чаадаеве Герцен подробно пишет в «Былом и думах».

К стр. 168. В дневнике брата есть и такие характерные строчки, написанные на мотив известной песни «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан»:

Золотая волюшка мне милей всего,
Не хочу я с волею в свете ничего.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЛЕЙБ-ГУСАР	7
ГЛАВА ПЕРВАЯ	9
ГЛАВА ВТОРАЯ	25
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	49
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. БАСМАННЫЙ ФИЛОСОФ	79
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	81
ГЛАВА ПЯТАЯ	121
ГЛАВА ШЕСТАЯ	143
ЭПИЛОГ	166
ПРИМЕЧАНИЯ	170

*Для среднего и старшего
возраста*

Смольников Игорь Федорович

**ОН
ВОЛЬНОСТЬ
ХОЧЕТ
ПРОПОВЕДАТЬ!**

Ответственный редактор
С. М. Туркова.

Художественный редактор
В. В. Куприянов.

Технический редактор
З. П. Кореньюк.

Корректоры
*К. Д. Немковская и
Л. Л. Бубнова.*

Сдано в набор 17/IV 1975 г. Подписано
к печати 31/X 1975 г. Формат 60×84^{1/16}.
Бумага типогр. № 2. Печ. л. 11. Усл.
печ. л. 10,23. Уч.-изд. л. 8,57. Тираж
100 000 экз. М-22333. Заказ № 657. Цена
39 коп. Ленинградское отделение ордена
Трудового Красного Знамени издательства
«Детская литература». Ленинград, 192187,
наб. Кутузова, 6. Калининский полиграф-
комбинат детской литературы им. 50-ле-
тия СССР Росглавполиграфпрома Госком-
издата Совета Министров РСФСР. Кали-
нин, проспект 50-летия Октября, 46.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Ваши отзывы о содержании и художественном оформлении книги присылайте по адресу: Ленинград, набережная Кутузова, 6. Дом детской книги издательства «Детская литература».

Укажите свой точный адрес и возраст.

Смольников И. Ф.

С 51

Он вольность хочет проповедать! Рис. Г. Фильчакова. Л., «Дет. лит.», 1975.

174 с. с ил.

Биографическая повесть о жизни П. Я. Чаадаева в период с 1816 по 1837 год.

Р 2



39 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. СМОЛЬНИКОВ. Он вольность хочет проповедать!

Игорь Смольников
ОН
ВОЛЬНОСТЬ
ХОЧЕТ
ПРОПОВЕДАТЬ!

